



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
(ordinamento ex D.M. 270/2004)
In Lingue e Letterature Europee,
Americane e Postcoloniali

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

*Una dimora nel regno delle
tenebre* (1924): Andrej
Belyj a Berlino

Relatore

Ch. Prof.ssa Daniela Rizzi

Correlatore

Ch. Prof.ssa Claudia Criveller

Laureanda

Anita Frison
Matricola 821585

Anno Accademico

2012 / 2013

Indice

Резюме: Одна из обителей царства теней (1924): Андрей Белый в Берлине	2
Capitolo 1: Andrej Belyj. Gli anni in Russia: 1916-1921	16
1.1 Belyj e la Rivoluzione	17
1.2 Occupazioni di Belyj negli anni della Rivoluzione: circoli letterari e pubblicazioni	18
1.3 Tra difficili condizioni di vita e la lontananza dalla moglie: la partenza	23
Capitolo 2: Berlino	30
2.1 La Repubblica di Weimar: gli anni 1918-1923	30
2.2 Percezioni di un mondo in rovina	31
2.3 Berlino	33
2.4 La Berlino russa	35
Capitolo 3: La Berlino di Belyj	44
3.1 Il viaggio. La sistemazione. Le occupazioni.	44
3.2 Asja e Steiner: gli incontri, le delusioni	47
3.3 Il disincanto verso la realtà europea	50
Capitolo 4: Una dimora nel regno delle tenebre	55
4.1 La struttura. I capitoli	56
4.2 Mosca e Berlino	58
4.3 Il “negro”	64
4.4 I colori e i suoni	69
4.5 Il rapporto autore-narratore. L’autobiografismo	72
4.6 Lo stile	76
Una dimora nel regno delle tenebre	87
Qualche parola di chiarimento	88
Di come Qualcuno è capitato a Berlino	93
Del “negro” in Europa	120
Bibliografia	153

Одна из обителей царства теней (1924): Андрей Белый в Берлине

Настоящая работа представляет собой перевод очерка *Одна из обителей царства теней*, написанного Белым после его пребывания в Берлине в 1921-1923 годах. Перевод сопровождается подробными сведениями об авторе, эпохе, характеристиках текста.

Цель данной работы – анализ одной публикации Белого, интересной по многим причинам, среди которых его восприятие европейской действительности этого периода.

Материалом для исследования послужили монографии о Белом, мемуары других русских писателей, которые жили в Берлине одновременно с ним, различные критические статьи и исследования по истории Германии 20-ых годов.

~

Работа состоит из четырех глав.

Первая глава (“Андрей Белый. Годы в России: 1916-1921”) посвящена жизни писателя во время русской революции, военного коммунизма и гражданской войны.

Прожив в антропосовском обществе в Дорнахе (Швейцария) несколько лет, Андрей Белый вернулся в Россию в 1916-ом году, чтобы служить в армии (хотя на самом деле он никогда в ней не служил). Его жена, Ася Тургенева, осталась в Швейцарии: это было начало долгого прощания. В 1917-ом году в России вспыхнула революция, и страна была отрезана от Европы.

Что касается революции, то Белый ее воспринимал не как политическую, а как *духовную*: под влиянием скифизма, антропософии, и апокалиптических теорий Ницше и Соловьева, он видел в революции

возможность мирового переворота. У России, по его мнению, вновь будет культурная независимость: страна станет вождем других народов. Так, 4 апреля 1917 года он писал “Верю в чудо русской революции”¹, считая всеобщие распад и хаос ритмами “Нового Хосмоса”². О том, что политические причины революции были чужды для Белого, свидетельствует и то, что он писал в статье *Революция и культура*: “Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок”.³ Хотя Белый всегда выступал за революцию, он никогда не хотел вступить в определенную партию.

Правда, потом стали контролировать все художественные произведения, но сначала ситуация была другой, и родились разные свободные ассоциации (например, ЛЕФ, Кузница, Серапионовы братья). В октябре 1918 Белый начал работать в московском Пролеткульте, где вел много семинаров по эстетике и поэтической ритмике. Кроме того, месяц спустя Луначарский взял его на работу в театральный отдел Наркомпроса. В январе 1919 года Белый получил письмо от своего друга Иванова-Разумникова, который создал в Петрограде *Вольную философскую академию (Вольфила)* и назначил его председателем совета. Другие члены академии – Блок, Кушнер, Мейерхольд, Штейнберг и т.п. После начальной неудачи и ареста многих ее членов, *Вольфила* (больше не “академия”, а “ассоциация”) открылась в ноябре 1919 года, а участие Белого началось только 17 февраля 1920 года. Об этом опыте он писал:

Ленинградская “Вольно-философская ассоциация” стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т.е. индивидуально-социальным) делом;

¹ Андрей Белый и Иванов-Разумник, *Переписка*, публикация, вступительная статья и комментарии А. В. Лаврова и Джона Мальмстада, Санкт-Петербург, Atheneum-Феникс, 1998, С. 98.

² Там же, С. 111.

³ А. Белый, *Революция и культура*, Москва, Лемана и Сахарова, 1917, С. 30.

я связался и с её деятелями, и с её лозунгами, и с её ширящейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом её работ.⁴

Несмотря на трудовую деятельность, Белый занимался и литературным творчеством. Между 1917 и 1918 годами журнал *Скифы* опубликовал антропософский роман *Котик Летаев*⁵, нечто похожее на репортаж о первых впечатлениях и ощущениях ребенка. Эта книга богата автобиографическими деталями, как и *Записки чудака* (1922). Это произведение разделено на части, посвященные годам в Дорнах, антропософии и многострадальному возвращению в Россию в 1916 году. Кроме того, в октябре 1917 года писатель закончил *Глоссолалия*⁶, “поэма о звуке”; в апреле 1918 года, следуя примеру Блока, он написал поэму о революции (*Христос воскрес*). Наконец, в 1918-19 годах вышли три его статьи: *Кризис сознания*, *Кризис мысли* и *Кризис жизни*.

В этот бурный период, жизненные обстоятельства были, конечно, тяжелыми, и Белый, чуткий и невротический, особенно страдал. Он жаловался во многих письмах к своему другу Иванову-Разумнику. Например, в письме от 2 ноября-1 декабря 1919 года ему сообщал:

Вообще: атрофируется всякая возможность проявляться: писать книги – нельзя: нет бумаги; писать письма нельзя – города отрезаны друг от друга; работать нельзя – ибо в комнатах у людей стоит такой мороз уже сейчас, что люди прячутся под одеяла; есть – тоже нельзя. Что же можно?⁷

Кроме того, Белый страшно страдал и от разлуки с Асей, которая осталась в Швейцарии после начала войны. От нее он получал отрывочные и

⁴ А. Белый, *Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития*, Ann Arbor, Ardis, 1982, С. 109.

⁵ Роман вышел отдельным изданием только в 1922 году издательством “Эпоха”, в Берлине.

⁶ А. Белый, *Глоссолалия*, Алконост, Берлин, 1922.

⁷ А. Белый и Иванов-Разумник, *Переписка*, С. 187.

тревожные новости. И хотя она была больна и без денег, Белый ей был совсем не нужен. В письмах она писала холодно, так что он ей отвечал:

...я ждал от Тебя 6 месяцев писем, и – получил: 1) воспоминания Твои об “ужасах” нашей совместной жизни 2) уведомление, что Ты не стесняешь моей свободы (как будто я этого не знал!) 3) уведомление о Твоих отношениях с В<ан>д<ер> П<аальсом>. [...] Заявляю с своей стороны, что я не намерен также стеснять Твоей свободы. [...] *Так как я не хочу стеснять Твоей свободы, то лучше мне к Тебе не ехать.*⁸

Несмотря на это, и несмотря на то, что получить разрешение уехать за границу было практически невозможно, писатель долго старался попасть к Асе и выяснить их отношения. Поэтому он просил о помощи Луначарского и Горького.

Надо отметить, что Белый ехал в Германию и с другой целью: встретиться со Штейнером, его духовным отцом. В 1916 году они расстались не очень дружески. В последнее время в Дорнахе Белый был сильно разочарован Антропософским Обществом, которое превратилось в жесткую конструкцию, мешающую духовной свободе:

Жизнь здесь унылая: всё болею то нервным переутомлением, то одышкой, то страдаю сердечными припадками. [...] ...вместо антр<опософского> искусства получилась дотошность самого захудалого модернизма; столько здесь тяжёлого, нудного, что Вы и представить себе не можете: вот скоро 3 месяца д<окто>ра нет; мы одни среди неприятностей, мелочностей, «тёткински» сплетен. [...] Иногда такое отчаяние охватит, что просто по-собачьему *выть* хочется.⁹

~

Во второй главе (“Берлин”) рассматривается немецкая действительность после окончания Первой мировой войны до 1923 года.

⁸ Письмо Белого к Асе от апреля 1919, цит. по: John E. Malmstad, *Andrej Belyj at home and abroad (1917-1923). Materials for a biography*, “Europa Orientalis” 8 (1989), С. 445.

⁹ А. Белый и Иванов-Разумник, *Переписка*, С. 63.

В ноябре 1918 года рухнул Второй рейх, и несколько дней спустя провозгласили республику. Новый государственный аппарат не был постоянным: возникли несогласия между социал-демократами и радикалами. В январе 1919 года они дошли до борьбы за власть; выиграла либералы под руководством Эберта. 11 августа 1919 года была принята новая конституция в Веймаре. В 1920 году в Берлине националист Капп организовал неудачный путч. Между тем, появились первые знаки инфляции, которая становилась все сильнее: все страдали от последствий экономического кризиса. Кроме того, условия Версальского договора обременили всю страну. В конце 1923 года произошел другой путч, организованный в Мюнхене Гитлером.

В 20-ые годы Германия претерпела огромные изменения. Города стали крупнее; наука прогрессировала; женщины эмансипировались и получили право голоса. Мораль стала гораздо свободнее; распространялась мода на новые танцы (например фокстрот, танго, чарльстон), стали популярными радио и кино. Волнение и уныние от поражения и экономического кризиса отражались во многих произведениях с апокалиптической окраской, как, например, *Закат Европы* (1918-1922) Шпенглера. Ощущение обвала старого мира выражено также в пьесах Крауса, в рисунках Гросса и Дикса, в фильмах Мурнау и Ланга. Наверное, это ощущение нависшей угрозы толкало людей на более непринужденный образ жизни, как будто царила жажда развлекаться и бежать от тяжелой повседневности.

Все эти тенденции проявлялись в Берлине больше, чем в других городах Германии. После войны столица сильно разрослась и привлекала к себе многих европейских интеллигентов. Она переполнилась подозрительными танцевальными залами, где можно было слушать джаз и принимать кокаин. Берлин считали развращенным городом. Художники, ителлигенты, дадаисты встречались в разных кафе, смешиваясь с революционерами, наркоманами и ворами.

Кроме того, до 1924 года Берлин наводнили русские (в 1922 году около 250.000). Появились русские банки, русские рестораны, русские кабаре: родились 19 книжных магазинов, 3 газеты и 6 банков. По словам Эренбурга,

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств: выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.¹⁰

Кроме Эренбурга и Белого, в Берлине были еще Горький, Ходасевич, Берберова, Цветаева Ремизов, Маяковский, Эл-Лисицкий и т.д. Они организовывали культурные вечера, встречи, дебаты, а также много писали и публиковали: в эти годы Эренбург опубликовал 19 книг, а Белый 16.

Почему же русские так стремились попасть в Германию? Во-первых, Германия — европейская страна ближе других к России; поэтому она стала промежуточным этапом для тех, кто еще не знал, как относиться к революции. Во-вторых, Рапалльский договор (1922) восстановил дипломатические отношения между Германией и Россией.

Немецких интеллигентов интересовала русская революция, поэтому они выступили с культурными инициативами, чтобы подробно узнать новую русскую действительность. В октябре 1922 года, например, была организована огромная выставка русского искусства в галерее Ван Димен.

Между прочим, не все русские эмигранты выступали против революции, поэтому в Берлине создали некоторые просоветские издательства (Петрополис, Геликон, Скифы, Гржебин).

¹⁰ И. Эренбург, *Собрание сочинений в девяти томах*, Москва, Художественная литература, 1966, том 8, С. 407.

Это была идиллическая эпоха, которая скоро (в 1924 году) закончилась: некоторые решили вернуться в Россию, а остальные уехали в другие страны Европы.

~

В третьей главе (“Берлин Белого”) говорится о пребывании Белого в Берлине.

Через Ригу, Ковно и Кенигсберг Белый приехал в Берлин 18 ноября 1921 года, и поселился в маленьком пансионе на Пассауерштрассе. Во время двухлетнего пребывания в Германии, Белый много писал, и опубликовал 7 переизданий и 9 неизданных произведений. Среди них, *Путевые заметки* (1922) – репортаж о путешествии Белого и Аси по Италии и Африке в 1910 году; *После разлуки* (1922) – последний стихотворный сборник писателя; а в *Воспоминаниях о Блоке* (1923), Блок – только повод для Белого, чтобы рассказывать о целой эпохе и о себе.

Кроме того, он сотрудничал в разных журналах (*Современные записки*, *Беседа*, *Новая русская книга*), в берлинских *Вольфила* и *Дом искусств*, и стал членом “Клуба писателей”.

Но ему надоело жить в Берлине, и вернулся в Россию в октябре 1923 года.

Многочисленные встречи с Асей, приехавшей в Берлин вместе со Штейнером, завершились окончательным разрывом. Белый заметил, что жена стала фанатиком антропософии: “Она превратилась в какую-то монашенку, нежелающую ничего знать, кроме своих духовных исканий”¹¹, написал он матери 29 декабря 1921. Несмотря на разочарование, он страшно страдал: “...и страшно страдала душа: я с Асей все покончил; мы

¹¹ Письмо Белого к матери от 29 декабря 1921 года, цит. по: Cfr. John E. Malmstad, *Andrej Belyj at home and abroad*, С. 456.

совершенно разошлись; и это было очень, очень больно”¹². Штейнер тоже его разочаровал: он не согласился встретиться с бывшим учеником.

Таким образом, Белый переживал глубокий духовный кризис, о котором свидетельствовали другие русские интеллигенты, например Цветаева, Берберова и Ходасевич, который писал так:

Весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. [...] Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских *Dielen*. Не в том дело, что он танцевал плохо, а в том, что он танцевал страшно. [...] То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое поправление лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому.¹³

Сам Белый так рассказывал о своем истерическом поведении в письме к Иванову-Разумнику от 15 января 1922 года:

Сердце сжимается болью: у меня трагедия: Ася ушла от меня; Штейнер – разочаровывает; движение – пустилось в “пляс” [...]. Нервы расстроились; работа не идет. Сознательно стал *пить*; вообразите, – идет ли мне быть *пьяницей*? А я стал *пьяницей* – *от горя!*.. Вот до чего дошел!..¹⁴

Несмотря на свое недомогание, Белый не перестал наблюдать за немецким и европейским обществом. Он отмечал разнообразные приметы его грядущего краха. Писатель изображает апокалиптическую Европу и расслабленную Германию, в отличие от живой послереволюционной России:

...а сравнение современной Германии с современной Россией сделало меня “патриотом” России (в совсем особом, скифском смысле). Ужасна Германия: организовано, безвдохновенно, серо, и “соглашательски” тихо

¹² Там же, С. 463.

¹³ В. Ходасевич, *Некрополь*, Азбука классика, Санкт-Петербург, 2008, С. 103.

¹⁴ А. Белый и Иванов-Разумник, *Переписка*, С. 234.

садится на дно. [...] Берлин – место, где я получил тяжелейшие жизненные удары, – остается в памяти кошмаром; там я едва не погиб.¹⁵

Европейская культура, по его мнению, потеряла свою творческую способность; у нее больше нет сил:

По-моему Германия Гёте, Фихте, Бетховена, Шумана, Вагнера, Ницше – умерла безвозвратно; Германию Бисмарка (выродившуюся в “фашизм”) и Германию социалдемократов я видел; и она, эта Германия, производила отвратнейшее впечатление. [...] Большинство европейских новостей “культуры” появляется в старой плоскости “прошлого мира” [...].¹⁶

Такая ненависть к Германии поражает, если прочитать воспоминания Белого о пребывании в Мюнхене в 1906 году:

Тихий Мюнхен – веселый Мюнхен. И тихая, веселая ночь, расцвеченная луной и лепетом фонтанов. Как приятно забыться, уйти в эту легкую жизнь и хотя бы с месяц уснуть здесь от тревог. Вы становитесь спокойней; вам кажется – вы поглупели; но почему ваша работа здесь и легка, и плодотворна?¹⁷

Здесь образ Мюнхена – полная противоположность образу мрачного Берлина. Европейская действительность и вправду изменилась.

~

В четвертой главе анализируется очерк *Одна из обителей царства теней*.

14 января и 14 февраля 1924 года Андрей Белый провел две лекции о своем пребывании в Берлине, одну в театре им. Мейерхольда в Москве, другую в Певческой капелле в Ленинграде. Материал этих лекций был потом переработан в очерк под заголовком *Одна из обителей царства*

¹⁵ А. Белый и Иванов-Разумник: *Переписка*, С. 249, 250.

¹⁶ А. Белый и Иванов-Разумник: *Переписка*, С. 253, 254, 255.

¹⁷ Киевские вести 1908. № 165, 22 июня, С. 3, цит. по: А. Лавров, *Две Германии Андрея Белого*, “Europa Orientalis” 22 (2003):2, С. 42.

теней, оконченный Белым в марте того же года.¹⁸ Книга представляет собой не просто мемуары, и не просто эссе о культуре 20-ых годов; это бессюжетное произведение не является объективным воспоминанием о берлинском периоде, а его субъективной переработкой через сознание автора.

После краткого предисловия (“Несколько пояснительных слов”), текст делится на два раздела. Первый раздел (“О том, как некто попал в Берлин”) состоит из двух глав: *О том, как “некто” попал в Берлин* и *О том, как хорошо в Берлине*. Второй раздел (“О негре в Европе”) состоит из трех частей: *О негре в Европе*, *О негре в Берлине* и *еще кой о чем, Москва и Берлин*. Одна из особенностей книги – то, что каждая главка можно считать отдельным эссе, независимым от других.

Темы

Одна важная тема очерка – сравнение Берлина с Москвой. Берлин – переполнен кафе, ресторанами и танцевальными залами, где господствуют фокстрот и “негрские барабаны”. Это – эффектный город с огромными и роскошными магазинами: например, знаменитый *Kaufhaus des Westens*. В Шарлоттенбургском (переименованном в “Шарлоттенградский”) квартале живут кучи русских, так что там появились много русских заведений. В Берлине ощущается иступленная атмосфера: все спешно бегут куда-то, по серым и унылым улицам. Жителей города можно разделить на две категории. Есть развратники, “фокстротопоклонники” и кокаиноманы. Некоторые из них легко узнаваемы; а другие на первый взгляд кажутся безвредными мещанами, но потом оказываются порочными. Ко второй категории принадлежат так называемые “бывшие люди”, которые в действительности – утонченные интеллигенты, поклонники Штирнера и Ницше. Так всплывает первый парадокс:

¹⁸ А. Белый, *Одна из обителей царства теней*, Ленинград, Государственное издание, 1924.

Здесь-то, в скромной пивной, среди пьяниц, почти отщепенцев, почти подозрительных личностей мне возникли наследники бывшей великой культуры; они оказались упавшими из “бэль-этажа” берлинской цивилизации – в подвал жизни; а в “бэль-этаже”, в курфюрстендамных кафе, водворились “негры” культуры, осыпанные бриллиантами. [...] Организованное безумие, бред, фантастичность и мерзость – во все это медленно начинает Берлин распадаться под пристальным взглядом; все – вывернуто наизнанку; и все – сошло с места. [...] Да, вывернулся наизнанку Берлин: и верха утонченной культуры ютятся в сомнительных, грязных низах одуроченной, сумасшедшей, проплеванной жизни; низы же культуры нахальнейше задраны; и сидят в ресторанах, порхают в авто, осыпают себя бриллиантами.¹⁹

Но существует и другой парадокс: “уличная суета” скрывает косность. Немецкая “революция” ничего не изменила, она была не настоящей революцией, а просто “маскарадом”. В Германии ничего не изменилось. Это ведет к медленной смерти, к невыносимому разложению.

Москва, напротив, полна света; если берлинец выглядит больным, почти мертвым, то москвич жив: у него живые глаза, острота взора, уверенность в себе. В России ощущается твердая почва; в России была настоящая революция, и много изменилось. Москва – динамична:

В жизни недавней Москвы был толчок, от которого повалились здания; но и – выперли новые недра системой хребтов; изменился рельеф жизни города. [...] Сдвиг был: он сломал все устои, сорвал безжалостно старые вывески, глыбами нагромоздив их стремительно, бесповоротно [...]. Мое первое впечатление от Москвы – впечатление источника жизни [...].²⁰

Другая тема – “негр” в Европе. Белый отмечает, что в Европе нет ничего нового; наоборот, привлекают людей экзотика и прошлое, не только в поле искусства (экспрессионизм и дадаизм, например, основаны на “негритянском” искусстве), а также в повседневности (страсть к

¹⁹ А. Белый, *Одна из обителей царства теней*, С. 31, 33, 35, 36.

²⁰ А. Белый, *Одна из обителей царства теней*, С. 72, 73.

негритянскому ритму фокстрота, кокаину, морфину, организованному хулиганству, названному сейчас “фашизмом”). Появляется новый человек, который подчиняется “темному хаосу”, “дикому чреву”; и он распространяется по улицам Берлина:

Скоро всюду в Берлине вам вскрыется “негр”; “негр” пробрался с высот дадаизированной культуры в мелкобуржуазную среду берлинских лавочников, хозяек сдаваемых комнат, держателей пивных, кельнеров [...]; здесь – ритмы фокстрота; и здесь – кокаин [...].²¹

Буржуазные устои разрушаются, традиционные ценности уничтожаются. Такая Европа, “дадаизирована”, “кокаинизирована”, может еще считаться Европой? Нет: “это – негр в Европе, а не Европа”.²² Как великие культуры прошлого, Европа тоже придет в упадок.

“Негр” Белого – символ разложения европейской действительности; он – новый человек, который следует зову “чрева” и стихии, превращаясь в современного дикаря.

Слух и зрение

Во своих описаниях, Белый предпочитает слух и зрение. Берлин связан с бурым цветом царства теней, и эта окраска становится *лейтмотивом* очерка. Например,

...и возникает Берлин *серо-бурый*, с *коричнево-серыми* и зловещими полутенями атмосферы, его обволакивающей [...]. [...] Он, весной отвеяв зеленым листом, нестерпимо жареет ужасною, *бурю* копотью летом, и *серая буроватая* мгла повисает над ним осенью и зимами; шлепают под ногами *такие же бурые*, мокрые от дождя тротуары; и справа и слева уходят в томительно *бурые* ряды зданий десятков безвкуснейших штрассе [...]. [...] ...и все это - в *бурой*, тоскливейшей дымке; и *бурые*, скучные, пресные бургеры спешно бегут в *буроватых* пальто вдоль тех улиц [...]. ... и нестись вдоль

²¹ Там же.

²² Там же, С. 44.

такого же *буроватого*, пренелепого ряда домов в *буроватой* томительной мгле, под *буреющим* небом, над *бурым* асфальтом.²³

Единственный свет – искусственный и “больной” свет заведений: “...блеск электричества – фосфоресценция разложения”²⁴, заявляет автор. В России, наоборот, сияет живой и теплый свет.

Звуки в Берлине тоже адские:

Европа несколько лет сотрясалась не ритмами бетховенских симфоний, а ритмами пушечных перекатов, гуденьями автомобильных гудков, скрежетанием крыльев пропеллеров; эта адская музыка воспитала и революцию, и... “негра” – одновременно – в сознании европейского человечества.²⁵

Автор и рассказчик

Большая часть очерка написана от первого лица: автор и рассказчик совпадают? По-моему, да: это – эссе, хотя необыкновенное. Художественного вымысла здесь нет.

Много раз Белый делает акцент на местоимения первого лица, но когда он описывает Берлин, он играет роль внешнего зрителя и использует безличные выражения (“... и потом открывается”, “... и вот открывается после”, “... и открылось”).

Есть и *альтер эго*, в главах *О том, как “некто” попал в Берлине* и, частично, *О том, как хорошо в Берлине*. Здесь он себя называет “некто”. Причина, по-моему, состоит в том, что здесь Белый не просто зритель: здесь он активно действует, и превращается в одного из своих персонажей. Он, одновременно, субъект и объект повествования, и решает встать на место третьего лица, чтобы лучше себя описать.

²³ Там же, С. 6, 7.

²⁴ Там же, С. 68.

²⁵ Там же, С. 50.

Насколько очерк автобиографичен? Только частично: книга – фантастическая переработка берлинской действительности, а не правдивый рассказ о пребывании Белого в Германии. Сам автор поясняет это:

Я пройду мимо личностей и постараюсь провести перед вами свой “миф”, или сказ о Берлине: сожму в фигуральные образы эту обитель тяжелого “царства теней”.²⁶

Стиль

Язык очерка – интеллектуальный сказ; он характеризуется особым синтаксисом, множеством тропов, очевидным ритмом, повторением слов, иронией и гипертрофией деталей. Среди тропов, Белый использует метафоры, оксимороны, синекдохи, олицетворения, неологизмы, игры слов, анафоры, градации.

Кроме того, у книги своеобразная пунктуация: Белый предпочитает двоеточие, точку с запятой и тире. Следовательно, ритм – разбитый, прыгающий, с неожиданными паузами:

“Кадеве” – не по карману для немцев; и даже – потом открывается: не по карману Шарлоттенград; он – для русских по преимуществу. [...] Жизнь Виттенбергплац лишь изредка нарушается: облавою полицейских на черную биржу; и нарушается еще реже – коммунистической манифестацией; поднимаются красные флаги; и – проплывают: в раскрытую бездну кварталов.²⁷

Автор часто нарушает порядок слов (“Кризисом прошлого должен был чужестранцев встречать многошумный Берлин” или “Не выстрадал новых он творчесих дум”).²⁸ Причины этого – разные: среди них – метризация прозы, одна из особенностей орнаментальной прозы.

Поэтому, проза Белого является насыщенной и “барочной”.

²⁶ Там же, С. 10.

²⁷ Там же, С. 28, 29.

²⁸ Там же, С. 65, 67.

Andrej Belyj. Gli anni in Russia: 1916-1921

Una dimora nel regno delle tenebre nasce come riflessione sulla realtà europea – in particolar modo berlinese – dei primi anni Venti, realtà che Andrej Belyj²⁹ ebbe modo di osservare in prima persona tra il 1921 e il 1923. Attraverso descrizioni stringate ed evocative, in bilico tra ricordo e suggestione, lo scrittore delinea il quadro di un'Europa ormai in ginocchio, stremata dal punto di vista economico e sociale, e che anche sul piano culturale sta attraversando un periodo buio: persa la creatività che le era propria, non è più in grado di proporre qualcosa di nuovo. A queste immagini piuttosto sconfortanti, Belyj affianca le impressioni suscitategli invece dalla Russia Sovietica, all'epoca pervasa da notevoli fermenti culturali e artistici, e rivitalizzata, a suo parere, dalla nuova spinta vitale della Rivoluzione.

Si tratta di un bilancio tratto a posteriori: prima della partenza per Berlino, avvenuta il 20 ottobre 1921, l'opinione di Belyj era ben diversa. La sua fede nella possibilità di vivere e lavorare nella Russia Sovietica era stata messa duramente alla prova dalle difficili condizioni di vita della realtà postrivoluzionaria, oltre che da un senso di insoddisfazione personale. La lontananza della moglie, rimasta in Svizzera allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, contribuì – insieme alla vita

²⁹ Andrej Belyj (pseudonimo di Boris Nikolaevič Bugaev) nacque a Mosca il 26 ottobre 1880, nella famiglia di un famoso matematico. Dopo un'infanzia non particolarmente felice, si iscrisse, seguendo la volontà paterna, alla Facoltà di Scienze dell'Università di Mosca, dove si laureò nel 1903. Parallelamente iniziò a frequentare intellettuali come Merežkovskij, Gippius, Sologub e a pubblicare le prime opere. Simbolista di seconda generazione come Blok e Ivanov, fu influenzato da Nietzsche, Vladimir Solov'ev, i neokantiani, Rudolf Steiner. Visse per qualche anno nella comunità antroposofica di Dornach insieme alla moglie Asja Turgeneva, finché nel 1916, chiamato alle armi, fu costretto a separarsi da lei. Rimase in Russia fino al 1921, quando ottenne il permesso di recarsi all'estero per motivi personali. Soggiornò a Berlino; nel 1923, profondamente deluso dalla società europea e rifiutato da Asja, tornò nuovamente in Russia dove rimase fino alla morte, avvenuta il 3 gennaio 1934 per le complicazioni di un colpo di sole. Fu un autore estremamente prolifico; tra le sue opere più importanti ricordiamo la raccolta poetica *Oro in azzurro* (1904), i romanzi *Il colombo d'argento* (1910), *Pietroburgo* (1914), *Kotik Letaev* (1922), *Mosca* (1926), il poemetto *Cristo è risorto* (1918) e il saggio *Ritmo come dialettica* (1928).

misera e frenetica che lo scrittore conduceva – a spingerlo ad avviare le estenuanti trafile burocratiche necessarie per l’espatrio.

Belyj e la Rivoluzione

La Rivoluzione era stata salutata con gioia da una certa fascia di intellettuali, convinti della necessità di distruggere il vecchio mondo e di creare una nuova società dalle sue ceneri; già nel gennaio 1918 Blok aveva composto il celebre poemetto *I dodici*, mentre Belyj, pochi mesi più tardi, gli aveva fatto eco con *Cristo è risorto*. Bisogna ad ogni modo notare che entrambi – e molti altri artisti con loro – avevano sostanzialmente frainteso il senso e la portata della rivoluzione. Sulla scia dello scitismo e dello slavofilismo ottocentesco, infatti, avevano inteso la rivoluzione come un ritorno della Russia alla sua vera natura, come una riappropriazione della propria autonomia culturale e l’assunzione di un ruolo messianico di guida degli altri popoli.

Oltre che dallo scitismo e dal misticismo che gli era congeniale, Belyj era influenzato anche dalla concezione apocalittica della storia di Nietzsche e Solov’ev; quest’ultimo predicava la fine della storia e lo stabilirsi del regno di dio sulla terra, la manifestazione finale della *Sofia* preceduta dall’apparizione dell’anticristo e da una battaglia apocalittica.³⁰

Non bisogna meravigliarsi, dunque, se già il 4 aprile 1917 Belyj scriveva “...верю – в «чудо» русской революции”³¹, vedendo nella situazione di caos e crollo generale il “ritmo di un Nuovo Cosmo”³², “l’inizio di un rivolgimento mondiale”³³ che avrebbe visto la Russia sollevarsi e rinascere. Influenzato inoltre

³⁰ Cfr. J. D. Elsworth, *Andrej Belyj*, Bradda Books, Letchworth, Hertfordshire, England, 1972, limitatamente al capitolo 2 (“The Symbolist Decade”).

³¹ Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, a cura di A. Lavrov, J. Malmstad, Atheneum-Feniks, Sankt-Peterburg, 1998, p. 98.

³² Cfr. Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 111: “...мы увидели бы под хаосом ритм Нового Космоса”.

³³ Cfr. Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 107: “...мы переживаем начало мирового переворота”.

dall'antroposofia, Belyj finì per intendere la rivoluzione essenzialmente come una rivoluzione dello spirito, tanto da essere definito un *bolscevico mistico*³⁴; per lui, i veri rivoluzionari europei non erano Marx ed Engels, ma Nietzsche e Ibsen³⁵. Così scrisse, nell'articolo *Revoljucija i kul'tura (Rivoluzione e cultura)*: “Революция духа – комета, летящая к нам из запредельной действительности; преодоление необходимости в царстве свободы, рисуемый социальный прыжок”.³⁶

L'appello di Belyj ad “ascoltare la musica della rivoluzione”³⁷ evidenzia quelli che oggi appaiono chiari fraintendimenti di un processo storico che avrebbe portato a esiti ben diversi da quelli da lui auspicati sul piano culturale; sul piano politico, l'autore rimase sempre in una posizione piuttosto autonoma ed evitò di identificarsi con una precisa parte politica, pur schierandosi sempre in favore della Russia Sovietica.

Occupazioni di Belyj negli anni della rivoluzione: circoli letterari e pubblicazioni

Nei primi anni postrivoluzionari la scena culturale rimase piuttosto vivace. Certo, in seguito si arrivò a misure drastiche di controllo della produzione artistica³⁸, ma non bisogna dimenticare che in un primo momento la situazione era ben diversa e le libere associazioni erano ampiamente diffuse in tutto il territorio del nascente stato sovietico³⁹. Agli echi delle esperienze acmeista e simbolista, inoltre, si intrecciavano le prime voci del movimento immaginista.

³⁴ Cfr. V. Demin, *Andrej Belyj*, Moskva, Molodaja gvardija, 2007, p. 264: “В религиозно-философском обществе [...] его за это прозвали «большевиком», а учитывая приверженность к антропософии – ещё и «мистическим большевиком»”.

³⁵ Cfr. V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., p. 265.

³⁶ A. Belyj, *Revoljucija i kul'tura*, Moskva, izd. Lemana i Sacharova, 1917, p. 30.

³⁷ Cfr. K. Močul'skij, *Andrej Belyj*, Paris, YMCA-Press, 1955, p. 205.

³⁸ Si vedano a titolo di esempio la risoluzione del CC PCUS(b) del 23 aprile 1932 Sul riassetto delle organizzazioni letterarie e artistiche e il discorso di Ždanov al Primo Congresso Panrusso degli Scrittori Sovietici del 1934.

³⁹ Tra i nascenti gruppi culturali si ricordino Lef, Kuznica, Pereval, I fratelli di Serapione, Oktjabr'.

Dopo una breve parentesi all'Archivio di Stato, nell'ottobre 1918 Belyj trovò impiego nella sezione moscovita del Proletkul't⁴⁰, dove tenne seminari riguardanti problemi di estetica e ritmica; lavorò fianco a fianco ad aspiranti letterati fino all'agosto dell'anno seguente, quando ne venne allontanato⁴¹. Nonostante l'orientamento generale Belyj aveva infatti continuato a diffondere le dottrine antroposofiche⁴², arrivando ad affermare che "la coscienza russa è inconsapevolmente antroposofica"⁴³; inoltre non si asteneva dal frequentare la Comunità Antroposofica Moscovita che avrebbe chiuso i battenti solo nel 1923. Oltre al lavoro al Proletkul't, nel novembre 1918 venne assunto da Lunačarskij⁴⁴ nella sezione teatrale del Narkompros⁴⁵ moscovita. Queste occupazioni gli erano necessarie per non essere considerato un "elemento non lavorativo" e per ricevere le tessere alimentari.

Nel gennaio 1919 ricevette una lettera di Ivanov-Razumnik⁴⁶: l'amico lo informava di aver fondato a Pietrogrado la *Vol'naja filsofskaja akademija* (abbreviata in *Vol'fila*) e di aver nominato presidente del consiglio dell'organizzazione Belyj stesso, assicurandogli un compenso elevato e tempo libero in abbondanza, cosicché avrebbe potuto dedicarsi alla stesura del memorialistico *Zapiski čudaka* e dell'articolo *Krizis soznanija*. Oltre a Belyj e a Ivanov-Razumnik (presidente dell'Accademia), altri membri del consiglio erano i poeti Aleksandr Blok e Boris Kušner, il regista Vsevolod Mejerchol'd, il pittore

⁴⁰ Il *Proletkul't* (*Proletarskaja kul'turno-prosvetitel'skaja organizacija*), era un'organizzazione proletaria di cultura e istruzione costituitasi già nel febbraio 1917. Indipendente dal Partito, aveva come scopo la creazione di una cultura proletaria autonoma e di una nuova classe di artisti "proletari". Nonostante il veto di Lenin, che riteneva fondamentale la guida del Partito anche in campo culturale, l'organizzazione si era affermata ben presto in modo capillare, suddividendosi in sezioni specifiche (per la letteratura, il teatro, la musica, le scienze e via dicendo): nel corso delle rispettive riunioni, artisti russi dalle solide basi istruivano alle varie arti i numerosi iscritti di origine proletaria.

⁴¹ Cfr. Andrej Belyj e Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 178: " [...] из Пролет-Культы меня «ушли»".

⁴² Dottrina teosofica elaborata da Rudolf Steiner. Si veda la nota XX su Steiner.

⁴³ Cfr. V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., p. 275: "Русское сознание неосознанно антропософично".

⁴⁴ Anatolij Lunačarskij (1875-1933), all'epoca Commissario del popolo per l'istruzione.

⁴⁵ *Narodnyj komissariat prosveščeniija* (Commissariato del popolo per l'istruzione).

⁴⁶ Razumnik Vasilevič Ivanov-Razumnik (1878-1946), scrittore e critico letterario russo.

Petrov-Vodkin, il filosofo e pubblicista Štejnberg e il poeta e filosofo Erberg⁴⁷. L'esperimento era destinato a un primo insuccesso: il 13 febbraio Ivanov-Razumnik venne arrestato; seguirono gli arresti di Blok, Remizov, Petrov-Vodkin, Štejnberg e altri, tutti coinvolti nell'attività della *Vol'fila*. Il motivo viene chiaramente spiegato da Štejnberg:

Пришлось изменить название нового задуманного сотрудничества. Луначарский считал совершенно неправильным дать нам, каким-то еретикам, народникам, левым эсерам, людям, представляющим какой-то предреволюционный сброд, возможность сделать первый шаг в таком важном направлении, как осмыслить революцию в духе философии и социализма. "Нет, это невозможно, — сказал он, — пусть они себе какое-нибудь другое название выберут".⁴⁸

Da "accademia" la *Vol'fila* venne così ribattezzata "associazione"; la prima seduta aperta al pubblico avvenne solo a metà novembre 1919, ma la sua attività non fu più ostacolata.

La collaborazione effettiva di Belyj ebbe inizio a partire dal 17 febbraio 1920, quando si trasferì a Pietrogrado rimanendovi fino ai primi di luglio. Alle letture pubbliche dei vari membri si alternavano vere e proprie lezioni, dibattiti, serate in memoria di svariati personaggi. Scrisse Belyj:

Ленинградская «Вольно-философская ассоциация» стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т.е. индивидуально-социальным) делом; я связался и с её деятелями, и с её лозунгами, и с её ширящейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом её работ.⁴⁹

Nonostante le attività che lo tenevano impegnato quotidianamente, Belyj si dedicò anche alla propria produzione letteraria. Tra il 1917 e il 1918 uscì su *Skify*

⁴⁷ Cfr. Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 169.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 170, 171.

⁴⁹ A. Belyj, *Počemu ja stal simbolistom i počemu ja ne perestal im byt' vo vseh fasach moego idejnogo i chudožestvennogo razvitija*, A. Arbor: Ardis, 1982, p. 109.

il romanzo antroposofico *Kotik Letaev*⁵⁰, scritto in buona parte durante il soggiorno a Dornach. Si tratta di una sorta di *reportage* sulle prime impressioni sensoriali e percettive di un bambino, dall'oscurità del ventre materno fino ai primi anni di vita. Numerosi sono gli elementi autobiografici: le continue liti tra i genitori, la figura della bambinaia, le frequenti febbri che lo assalivano, riferimenti a personaggi della sua infanzia fanno del piccolo Kotik un vero e proprio alter ego dello scrittore. Ogni avvenimento, ogni oggetto, ogni persona che a un adulto apparirebbero banali e scontati, tali non sono per il bambino neonato, privo di esperienza: secondo la dottrina antroposofica l'Ego, una volta reincarnato, ha dimenticato tutto della vita precedente. Il risultato è la trasfigurazione delirante di una realtà che, attraverso lo sguardo del bambino, si scompone in un caleidoscopio di simboli spesso incomprensibili e variamente interpretabili.

Altra opera a sfondo autobiografico è *Zapiski čudaka* (1922)⁵¹. Il libro, suddiviso in più sezioni, descrive gli anni di Dornach, la conversione all'antroposofia e il travagliato viaggio di ritorno verso la Russia nel 1916. Qui la mania di grandezza propria di Belyj si trasforma in mania di persecuzione: convinto di essere considerato dalle autorità britanniche una spia pericolosa, Ledjanoj (nuovo alter ego dell'autore) guarda con allucinato sospetto ogni persona con cui ha a che fare, spaventato in modo particolare da un "uomo con la bombetta" che ritrova più volte nel lungo viaggio attraverso l'Europa. Il terrore paranoico crescerà fino a rasentare la follia, in una sorta di viaggio apocalittico verso la crocifissione finale⁵². Definito dallo scrittore come "una satira su me

⁵⁰ Il romanzo uscirà per la prima volta in edizione separata solo nel 1922 a Berlino, per la casa editrice Epocha.

⁵¹ Sul livello di veridicità degli elementi autobiografici dell'opera si veda il saggio di C. Criveller, *Le strategie dell'ambiguità in Zapiski čudaka di Andrej Belyj*, "Europa Orientalis" 26, 2007.

⁵² Si veda a tale proposito il capitolo *In the Imitation of Christ* in Samuel D. Cioran, *The apocalyptic symbolism of Andrej Belyj*, Mouton, The Hague-Paris, 1973, pp. 180-195.

stesso, su quello che ho vissuto personalmente”, il libro descrive “[...] la malattia di un’epoca, una malattia di cui molti soffrono senza saperlo”⁵³.

Risente dell’influenza del pensiero di Steiner anche *Glossolalia*, terminato nell’ottobre 1917⁵⁴. Questo “poema sul suono” narra la nascita e l’evoluzione del linguaggio nell’arco di sette giorni (evidente il richiamo alla Genesi), a cui corrispondono sette pianeti; si sofferma poi sul quarto, la Terra, in cui attualmente vive l’uomo. Il “poema”, corredato da disegni dello stesso Belyj, finisce per creare una vera e propria mitologia del suono, evidenziando le corrispondenze sonore e lessicali tra le varie lingue dall’antichità ai giorni nostri.

Nell’aprile 1918, sull’onda dei *Dodici* di Blok, Belyj compose un poemetto sulla rivoluzione, intitolandolo *Christos voskres (Cristo è risorto)*⁵⁵. Nell’opera viene raffigurata una Russia sofferente, crocifissa, destinata tuttavia a sopravvivere alla crocifissione poiché, appunto, “Cristo è risorto”. In sostanza il poema non aggiunse niente di nuovo ai *Dodici*: “Belyj fa propria l’idea di Blok, contorna con il carbone il suo fine disegno, sottolinea i contrasti, rafforza la tensione emotiva”⁵⁶.

Infine, pubblicati tra il 1918 e il 1920 per le edizioni Alkonost sono anche tre articoli, scritti in Svizzera nel 1916: *Krizis žizni*⁵⁷, *Krizis mysli*⁵⁸ e *Krizis kul’tury*⁵⁹. Particolarmente interessante è il primo, in cui, sullo sfondo della vita a Dornach e della guerra appena scoppiata, Belyj sottolinea certe caratteristiche proprie, a suo avviso, della modernità: nella nostra civiltà materialista abbiamo ucciso lo spirito del mondo; la macchina si è ribellata all’uomo; e una nuova razza umana è destinata a svilupparsi: quella dei “selvaggi civilizzati”, dei “negri bianchi”, dei

⁵³ A. Belyj, *Zapiski čudaka*, Epocha, Berlin, 1922, II, p. 236, cit. in: Samuel D. Cioran, cit., p. 194.

⁵⁴ A. Belyj, *Glossolalija*, Alkonost, Berlin, 1922. Per l’edizione italiana: A. Belyj, *Glossolalia. Poema sul suono*, trad. di G. Giuliano, Milano, Medusa Edizioni, 2006.

⁵⁵ A. Belyj, *Christos voskres*, Alkonost, Peterburg, 1918. Per l’edizione italiana: A. Belyj, *Cristo è risorto*, trad. di C.G. De Michelis, Milano, Ceschina, 1969.

⁵⁶ K. Močul’skij, *Andrej Belyj*, cit., p. 212.

⁵⁷ A. Belyj, *Krizis žizni*, Alkonost, Peterburg, 1918.

⁵⁸ A. Belyj, *Krizis mysli*, Alkonost, Peterburg, 1918.

⁵⁹ A. Belyj, *Krizis kul’tury*, Alkonost, Peterburg, 1920.

“danzatori di tango”, dei “banditi”, dei “futuristi”. Proprio questi nuovi selvaggi – e la società che hanno creato – saranno poi al centro di *Una dimora nel regno delle tenebre*, interessante pamphlet sul folle e delirante soggiorno berlinese dell'autore.

Tra difficili condizioni di vita e la lontananza dalla moglie: la partenza

In questi anni di attività febbrile le condizioni di vita erano senza dubbio estreme e Belyj, sensibile e nevrotico per natura, ne soffrì particolarmente. Nella lettera del 2 novembre-1 dicembre 1919 a Ivanov-Razumnik, l'autore lamenta così le difficoltà che lo ostacolavano:

Вообще: атрофируется всякая возможность проявляться: писать книги – нельзя: нет бумаги; писать письма нельзя – города отрезаны друг от друга; работать нельзя – ибо в комнатах у людей стоит такой мороз уже сейчас, что люди прячутся под одеяла; есть – тоже нельзя. Что же можно?⁶⁰

Altrettanto incisivo un estratto da una lettera ad Asja, scritta nel 1921 a Kovno e mai inviata:

До Рождества 1918 я читал курс лекций, вёл семинарии с рабочими, разрабатывал программу Театрального Университета, читал лекции в нетоплённом помещении Антропософского общества, посещал заседания Общества. С января 1919 г. я всё бросил, [...] лёг под шубу и пролежал в польной прострации до весны, когда оттепель немного согрела мою душу и тело. [...] В комнате стояла температура не ниже 8° мороза, но и не выше 7° тепла. Москва была темна. По ночам растаскивали деревянные особняки. [...] Я жил в это время вот как: [...] у меня в комнате в углу была свалена груда моих рукописей, которыми я пять месяцев подтапливал печку; [...] среди мусора и хлама, при температуре в 6-9°, в зимных перчатках, с шапкой на голове, с коченеющими до колен ногами, просиживал я при тусклейшем свете перегоревшей лампочки или готовя матерьял для лекции следующего дня, или разрабатывая мне порученный проект в Т.О., или пишучи (так!)

⁶⁰ Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 187.

„Записки чудака”, в изнеможении бросаясь в постель часу в четвертом ночи: отчего просыпался я в десять часов и мне никто не оставлял горячей воды; итак, без чаю подчас, дрожа от холода, я вставал и в одиннадцать бежал с Садовой к Кремлю (где было Т.О.), попадая с заседания на заседание; [...] оттуда, со Смоленского рынка, тащился часов в 5-6 домой, чтобы в семь уже бежать обратно по Поварской в Прлеткульт, где учил молодых поэтов ценить поэзию Пушкина; [...] и уже оттуда, часов в 11, брел домой, в абсолютной тьме. [...] Так продолжалось не день, не два, а ряд месяцев.⁶¹

Dall’agosto 1919 le sue condizioni di vita migliorarono leggermente. Nella già citata lettera a Ivanov-Razumnik, Belyj descrive l’appartamento dei Vasil’ev, dai quali era ospitato:

Я устроился в Москве идеально. [...] я имею стол (прекрасный по теперешнему времени), от 10 до 12 градусов тепла (чего нигде в Москве не найдёшь: везде от 0 до 5, 6, 7 максимум градусов), освещение, милую комнатку и зботливый уход за баснословно дешевой цене; [...] у меня остаются деньги на папиросы; и – на маму.⁶²

Delle sue difficoltà di salute, di cui era pienamente consapevole (“[...] с моей физической комплекцией в современных условиях московской жизни я бы давно погиб”⁶³) testimonia anche Klavdija Nikolaevna Vasil’eva, che in futuro sarebbe divenuta la sua seconda moglie: “Условия жизни тогда были очень суровы. В домах не топили, трамваев не было. Б[орис] Н[иколаевич] сильно страдал от холода и почти всегда был нездоров”⁶⁴.

D’altro canto, Belyj era tormentato anche dalla lontananza dalla moglie⁶⁵, rimasta in Svizzera allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Le notizie che

⁶¹ Cfr. V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., pp. 287-288.

⁶² Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 192.

⁶³ *Ivi.*

⁶⁴ K. N. Bugaeva, *Vospominanija ob Andree Belom*, a cura di J. E. Malmstad, Sankt-Peterburg, izd. Ivana Limbacha, 2001, p. 101.

⁶⁵ Anna Alekseevna Turgeneva (1890-1966), lontana parente del famoso scrittore, aveva conosciuto Belyj da ragazzina, nel 1905; ma fu nel 1910 che i due decisero di unire i loro destini e di considerarsi marito e moglie, anche se si sposarono effettivamente solo alcuni anni dopo. I due viaggiarono a lungo per l’Europa e il nord Africa finché nel 1914 si stabilirono a Dornach, nella

l'autore riceveva erano frammentarie e preoccupanti. Il 26 dicembre 1917 descrisse così a Ivanov-Razumnik la situazione di Asja Turgeneva:

...Она – больна; у нее нет денег; выслать ей нельзя, проехать нельзя; и вот давно уже во мне крепнет отчаянная решимость: вопреки всем преградам начать проламываться к ней; если она «голодает», голодать – с ней; если она больна, быть около нее; я уже полтора месяца только и думаю об одном: всех бросить, все бросить и правдой или неправдой, а прорваться к ней; она – моя главная душевная и духовная помощь; без нее не могу и работать [...]; ... *очень, очень* плохо; стал форменным неврастеником, сжимающим зубы от злости, тоски, беспокойства за Асю, беспочвенности; [...] и – едва передвигаю ноги от физической усталости. Чувствую себя ненужным, бездельным ртом в России: в России *мне нечего делать*. [...] Чувствую, как сегодня-завтра разболеюсь душевно⁶⁶.

Due anni dopo, verso la fine del 1919, all'amico scrisse ancora così:

Я решился предпринять невероятные усилия, чтобы с первой возможностью ехать из пределов России – разыскивать Асю, от которой не имею никаких вестей; в среду обращусь к Луначарскому [...]; я готов взять какую угодно миссию, какое угодно поручение от *Наркомпроса* [...], чтобы дорваться до Аси; и дорвавшись, совместно с ней обсудить планы дальнейшей жизни. [...] все это я хочу объяснить Луначарскому, не как Комиссару, а как человеку, могущему же понять, что все бытие мое, творчество, жизнь зависит от свидания с Асей, Доктором⁶⁷ и от того, смогу ли я в грядущих годах советской России рассчитывать быть писателем.⁶⁸

comunità antroposofica fondata da Steiner. Allo scoppio della guerra Asja rimase in Svizzera; dopo un breve incontro con il marito a Berlino nel 1921, se ne separò definitivamente e non tornò mai più in Russia.

⁶⁶ Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., pp. 147-148.

⁶⁷ Rudolf Steiner (1861-1925), filosofo austriaco. Originariamente legato all'insegnamento teosofico di Madame Blavatsky e Annie Besant, se ne distaccò in seguito per fondare una propria dottrina, l'antroposofia. Secondo i suoi insegnamenti, l'uomo in sé sarebbe composto da più corpi (fisico, astrale ed eterico) e da un Ego che, immortale, alla morte del corpo torna periodicamente nella terra dello spirito. Durante questo processo si ha una perdita della memoria, il recupero della quale dà origine all'attività creativa. All'interno di questo ciclo di morte e rinascita è il bambino ad avere un ruolo chiave, poiché è per suo tramite che l'Ego si reincarna nuovamente in un corpo fisico. In bilico tra l'esoterismo dell'antico Oriente e la mistica medievale, questa dottrina mistico-religiosa mira sostanzialmente all'evoluzione dello spirito dell'uomo attraverso vari stadi. Sede della Società Antroposofica divenne il Goetheanum, una

Stanco delle circostanze in cui si trovava a vivere, era fermamente intenzionato a mettere da parte i soldi necessari per andare all'estero alla ricerca di condizioni di vita più favorevoli. Il 4 gennaio 1920 Belyj si rivolse anche a Gor'kij, nella speranza di smuovere le acque più velocemente:

... уже скоро 4 года, как я разлучен с женой; и – полтора года, как не имею от неё никаких известий; жена осталась в Швейцарии, откуда я уехал в 1916 году; последнее известие от неё взволновало меня: она была больна; с тех пор я о ней ничего не знаю. [...] На днях Анатолий Васильевич Луначарский обещал мне содействие в получении разрешения на выезд из России. [...] Скажу откровенно: тревога за жену, тоска по ней настолько сильны, что я, заручившись содействием Луначарского, решил преодолеть все трудности, чтобы пробраться к жене; это и есть мотив моей просьбы: обращение к Вам. [...]...я единственно одушевлён одной целью: найти жену, которая, может быть, больна, нуждается и т.д.⁶⁹

Nonostante il subitaneo interessamento di Lunačarskij e Gor'kij, la partenza di Belyj avvenne più di un anno dopo: già a quel tempo recarsi all'estero non era concesso a tutti e, quando si riusciva a ottenerlo, il permesso di espatriare veniva accordato a prezzo di lunghe pratiche burocratiche.

Le poche notizie che Belyj aveva ricevuto dalla moglie non erano certo incoraggianti: le brevi lettere che Asja gli scriveva in uno stile piuttosto sciatto e privo di punteggiatura erano quanto mai fredde e distaccate. Oltre alla preoccupazione per lo stato di salute della moglie vi era dunque una buona dose di ansia per il futuro della loro relazione, cosa che gli fece affermare in una lettera del 10 maggio 1918: “Вообще: я привык уже даже не ждать от Тебя писем... Ко всему привыкает человек... И не жду для себя никаких приятных

sorta di tempio progettato a Dornach dallo stesso Steiner. Alla sua costruzione presero parte numerosi adepti del *Dottore*, tra cui anche Belyj e Asja Turgeneva.

⁶⁸ Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 193.

⁶⁹ Lettera di Belyj a Gor'kij del 4 gennaio 1920, cit. in: V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., p. 295.

неожиданностей; наоборот: неприятных – жду.”⁷⁰. In questo caso non si trattava di pura e semplice paranoia: come apparirà in seguito, i suoi timori non erano infondati. Il 7 gennaio 1919 le scrive una lettera:

Милая Ася, недавно получил Твоё письмо – то, в котором ты вводишь меня в круг своей душевной жизни, и в котором вспоминаешь «ужасы» нашей прежней жизни с Тобой; признаться сказать мне письмо Твоё было грустно: ведь оно – единственное, которое я получил за 8 месяцев; когда люди по полгоду не имеют друг о друге вестей и когда неизвестно ещё, увидятся ли они, – не следует писать письма подобного содержания. Знаешь ли действие Твоего письма на меня? Вот оно: *если бы мне было возможность вернуться к Тебе в Дорнах теперь – памятуя о стольких «ужасах» нашего совместного жизненного странствия (как явствует из Твоего письма), я не вернулся к Тебе бы, дабы не портить своим присутствием Твоё духовное совершенствование.*⁷¹

Nell’aprile dello stesso anno le scrive amaramente:

...я ждал от Тебя 6 месяцев писем, и – получил: 1) воспоминания Твои об «ужасах» нашей совместной жизни 2) уведомление, что Ты не стесняешь моей свободы (как будто я этого не знал!) 3) уведомление о Твоих отношениях с В<ан>д<ер> П<аальсом>. [...] Заявляю с своей стороны, что я не намерен также стеснять Твоей свободы. [...] *Так как я не хочу стеснять Твоей свободы, то лучше мне к Тебе не ехать.*⁷²

Nonostante queste forti affermazioni, lo scrittore decise infine di raggiungere la moglie per avere, se non altro, una spiegazione con lei. Sarebbe tuttavia restrittivo imputare a motivi della partenza esclusivamente i problemi sentimentali. Come giustamente ha notato Močul’skij, Belyj si recò all’estero per un duplice scopo, di cui il ricongiungimento con Asja non era che una parte. Il poeta sentiva infatti il bisogno di incontrare nuovamente anche Steiner, dal

⁷⁰ Lettera di Belyj ad Asja del 10 maggio 1918, cit. in: John E. Malmstad, *Andrej Belyj at home and abroad (1917-1923). Materials for a biography*, “Europa Orientalis” 8 (1989), p. 441.

⁷¹ Lettera di Belyj ad Asja del 7 gennaio 1919, *ivi*, p. 443.

⁷² Lettera di Belyj ad Asja dell’aprile 1919, *ivi*, p. 445.

quale si era separato in termini non completamente cordiali, e al quale desiderava descrivere i “pesanti anni spirituali russi”, sentendosi un “inviato della Russia all’antroposofia”⁷³. Anche se gli emigrati russi legati all’antroposofia si adoperavano, in Europa, a tradurre in russo le opere di Steiner e a inviarle in patria, la comunità antroposofica russa era rimasta – per chiari motivi storici – piuttosto isolata.

Nell’ultimo periodo che aveva trascorso a Dornach, peraltro, Belyj era stato profondamente deluso dalla Società Antroposofica, la cui rigida disciplina costituiva ai suoi occhi un ostacolo per la reale libertà spirituale. L’11 marzo 1916 aveva descritto così a Ivanov-Razumnik l’ambiente di Dornach:

Жизнь здесь унылая: всё болею то нервным переутомлением, то одышкой, то страдаю сердечными припадками. [...] ...вместо антр<опософского> искусства получилась дотошность самого захудалого модернизма; столько здесь тяжёлого, нудного, что Вы и представить себе не можете: вот скоро 3 месяца д<окто>ра нет; мы одни среди неприятностей, мелочностей, «тёткинских» сплетен. [...] Иногда такое отчаяние охватит, что просто по-собачьему *выть* хочется.⁷⁴

Era anche rimasto amareggiato per il trattamento che i membri della comunità gli riservavano: al contrario di quanto accadeva in Russia, a Dornach nessuno apprezzava e seguiva il suo lavoro, nessuno lo considerava un grande scrittore, tutti, in sostanza, lo ignoravano:

...здесь, в Дорнахе, никто меня не любил как писателя; многие [на] меня косились, неизвестно за что; я был окружен страшными, мне непонятными знаками судьбы. И мне опять захотелось бежать от всей дорнахской абракадабры, порой столь оскорбительно для меня звучащей.⁷⁵

⁷³ Cfr. K. Močul’skij, cit., p. 222.

⁷⁴ Cfr. *Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik - Perepiska*, cit., p. 63.

⁷⁵ A. Belyj, *Material k biografii (intimnyj)*, a cura di J. E. Malmstad (*Andrej Belyj i antroposofija*), in “Minuvšee. Istoričeskij al’manach” 8, Paris, Atheneum, 1989, p. 450.

Nella Società Antroposofica steineriana lo scrittore aveva finito per vedere “una falsa combinazione di esoterismo e statalità, causa di fraintendimenti nell’uso dei simboli e del fallimento dell’antroposofia in Occidente”⁷⁶.

⁷⁶ C. Criveller, *Le strategie dell’ambiguità in Zapiski čudaka di Andrej Belyj*, “Europa Orientalis” 26 (2007), pp. 362-363.

Berlino

La repubblica di Weimar: gli anni 1918-1923

Nel novembre 1918, in seguito alla durissima sconfitta militare tedesca, crollò il Secondo Reich; il governo fu assunto da un Consiglio di Commissari del popolo, e il 9 novembre venne proclamata la Repubblica. Non si trattava di un organismo stabile: le divergenze tra socialdemocratici e gruppi più radicali (come La lega di Spartaco, nucleo del futuro KPD) ne minavano la coesione interna. I socialdemocratici desideravano la democratizzazione della vita tedesca attraverso i lavori di un'assemblea costituente, mentre gli spartachisti proponevano la formazione, dal basso, di una serie di *consigli* su modello dei Soviet russi. Nel gennaio 1919 si arrivò alla lotta armata; le forze radicali vennero represses dai socialdemocratici guidati da Ebert, che andò a presiedere il governo di coalizione allargato a cattolici e liberaldemocratici. La Costituzione, elaborata a Weimar, fu promulgata l'11 agosto 1919. Si trattava effettivamente di un modello avanzato di democrazia parlamentare; nonostante le indubbe innovazioni, tuttavia, il ruolo e il prestigio delle principali classi tedesche – stato maggiore, banche, industrie, *Junker* – rimanevano pressoché intatti. Per questo motivo la Repubblica di Weimar viene interpretata da molti storici come un compromesso tra vecchia e nuova Germania. Nel 1920 a Berlino venne tentato da Kapp⁷⁷ un *putsch*, che fallì non grazie all'intervento delle forze armate della Repubblica, ma per mezzo di un massiccio sciopero generale. Nel frattempo si profilavano all'orizzonte i primi sintomi dell'inflazione, i comunisti cercavano di stabilire in tutto il Paese dei governi provvisori, e in Baviera si andava formando il Partito nazionalsocialista dei lavoratori (NSDAP). Alle votazioni del giugno 1920 si assistette a uno spostamento a destra dei voti; i socialdemocratici furono

⁷⁷ Wolfgang Kapp (1858-1922), giornalista tedesco appartenente all'estrema destra nazionalista. Desiderava la restaurazione della monarchia e la revisione del Trattato di Versailles.

costretti a lasciare il governo, che passò nelle mani di cattolici e moderati. L'inflazione iniziò a pesare sempre di più: se nel 1914 il cambio era di 1 dollaro a circa 4 marchi, nel 1921 si arrivò al cambio 1 dollaro-270 marchi, per poi raggiungere nel 1923 la cifra incredibile di 4.200.000.000.000 marchi. La crisi venne avvertita da tutte le fasce sociali; solo alcuni speculatori riuscirono comunque ad arricchirsi comprando beni immobili non deprezzati, o guadagnando valuta straniera attraverso l'esportazione di merci tedesche comprate con denaro svalutato. All'inflazione si aggiungevano inoltre le dure clausole del Trattato di Versailles, secondo le quali la Germania avrebbe perso il 13% del suo territorio, quasi il 10% della sua popolazione e tutte le colonie; ma, cosa ben peggiore, avrebbe dovuto pagare come riparazioni di guerra ben 132 miliardi di marchi. Con la crisi economica sempre più minacciosa, alla fine del 1922 il governo chiese alle potenze vincitrici la sospensione momentanea dei pagamenti. La richiesta venne respinta, e truppe francesi e belghe occuparono la regione della Ruhr per ristabilire l'ordine. Il 1923 si chiuse con un nuovo tentativo di colpo di stato, organizzato a Monaco da Adolf Hitler.

Percezioni di un mondo in rovina

Dal punto di vista culturale e sociale, gli anni Venti furono in Germania un periodo di grandi trasformazioni. I centri cittadini iniziarono a ingrossarsi con l'arrivo della popolazione delle campagne; se Berlino nel 1880 contava un milione di abitanti, ad esempio, negli anni Venti superò i quattro milioni. Nonostante questo incremento, buona parte della popolazione continuava comunque a vivere in piccole e chiuse comunità rurali.

Le università rimanevano roccaforti della destra, e le classi colte tedesche continuavano a gravitare nell'ambiente conservatore. Gli intellettuali di sinistra, critici verso i socialdemocratici disposti al compromesso politico, erano pervasi da uno spirito pessimista.

La scienza faceva enormi passi in avanti. Grazie all'emancipazione forzata del periodo di guerra, inoltre, le donne avevano ora un ruolo ben definito nella vita sociale ed economica del Paese; negli anni della Repubblica acquisirono anche il diritto di voto.

I costumi divennero molto più liberi, si diffusero le mode di nuovi balli come lo shimmy, il tango, il charleston; le canzonette e l'occultismo proliferarono, vennero fondati i primi grandi centri commerciali, la radio e il cinema divennero quanto mai popolari. Erano gli anni del jazz e del movimento *dada*, che agli orrori della guerra e al crollo di tutti i valori rispondeva provocatoriamente con il rifiuto: il rifiuto di un programma, il rifiuto di determinati valori estetici. Erano anche gli anni dell'esperimento del *Bauhaus*, scuola creata nel 1919 a Berlino da Gropius con lo scopo di superare la separazione arte-artigianato e di rendere armoniche e coese espressioni artistiche differenti.

A fianco della vecchia Germania solida e ordinata, pervasa dall'etica del lavoro e dall'organizzazione, ne stava sorgendo un'altra, più irrequieta e meno conformista; era proprio questa dicotomia, a detta di Erenburg, a renderla il Paese più interessante d'Europa⁷⁸.

L'irrequietudine, l'insoddisfazione e il malessere derivanti dalla precarietà della vita in un Paese sull'orlo della bancarotta, sfociarono sul piano culturale in un gran numero di opere a sfondo apocalittico, dominate dalla paura per una catastrofe imminente.

Una delle più significative fu senza dubbio *Il tramonto dell'Occidente* (1918-1922) di Oswald Spengler, un intellettuale della destra radicale. Secondo Spengler, la storia del genere umano obbedisce a una sorta di legge ciclica, che vede le singole culture nascere, svilupparsi e infine decadere per poi uscire dalla storia. La società occidentale sarebbe ora in uno stadio avanzato di decadenza, e Spengler individuò nel cosmopolitismo e nella dispersività delle nuove metropoli

⁷⁸ Cfr. W. Laqueur, *La Repubblica di Weimar, 1918-1933. I mali oscuri della democrazia*, trad. it. di L. Magliano, Milano, Rizzoli, 1977, p. 40.

– oltre che nell’ingannevole sistema democratico – i segnali più evidenti della sua crisi.

La percezione del crollo imminente del vecchio mondo – riflessa in Germania anche nei lavori teatrali di Karl Kraus, nei disegni satirici e amari di Grosz e Dix, nei film di Murnau e Lang – era condivisa comunque dal resto d’Europa. Lo storico olandese Huizinga (1872-1945) rievocò così gli anni postbellici:

Noi viviamo in un mondo ossessionato. E lo sappiamo. Nessuno si stupirebbe se, un bel giorno, questa nostra demenza sfociasse in una crisi di pazzia furiosa, che, calmatasi, lascerebbe l’Europa ottusa e smarrita [...]. Dappertutto il dubbio intorno alla durezza del sistema sociale sotto cui viviamo; un’ansia indefinita dell’immediato domani; il senso del decadimento e del tramonto della civiltà. [...] Se si vuole che questa società si salvi, che non decada a secoli di barbarie [...] è necessario che gli uomini d’oggi si rendano esatto conto di quanto sia già progredita la dissoluzione che li minaccia.⁷⁹

Probabilmente fu proprio questo senso di minaccia incombente, questa attesa spossante di un’apocalisse, a spingere la gente verso stili di vita più liberi e disinibiti, verso la sperimentazione di droghe e i balli scatenati; quasi regnasse l’ansia di divertirsi e di evadere dagli orrori della guerra passata e dalle difficoltà della vita quotidiana segnata dalla crisi economica sempre più pesante.

Berlino

Senza dubbio Berlino divenne la città in cui tutte queste tendenze trovarono maggiore espressione. Negli anni postbellici la capitale si ingrandì notevolmente e iniziò a richiamare intellettuali da tutta Europa, divenendo famosa come capitale del divertimento. Si riempì di sale da ballo e locali equivoci, in cui si ascoltava *jazz* e si consumava cocaina, in cui si poteva assistere a spogliarelli e si potevano incontrare attrici di cinema e ballerine famose. Descritta di volta in

⁷⁹ J. Huizinga, *La crisi della civiltà*, Torino, Einaudi, 1938.

volta come *Kosmopolis* o come “una città grigia, piena di rumore e di polvere, squallida, una sinfonia di dissonanze”⁸⁰, Berlino si era guadagnata la fama di città corrotta, di “una metropoli dalla coscienza sociale fortemente sensibilizzata e improntata ad un individualismo esasperato”⁸¹. Di certo non era l’unica città ad avere caratteristiche del genere, ma più di ogni altra era stata pubblicizzata come tale, e il suo mito negativo era stato intenzionalmente coltivato.

Gli intellettuali berlinesi guardavano gli altri centri culturali tedeschi con una superiorità assolutamente ingiustificata. Se Monaco era stata la capitale culturale prima della guerra – vantando la pubblicazione di famose riviste, tra cui il *Simplicissimus*, e il funzionamento di un ottimo teatro di prosa – ora il suo ruolo era stato senza dubbio assunto da Berlino, più aperta alle novità e più sensibile alle nuove tendenze. Questo però non voleva dire che non vi fossero altri centri culturali attivi e importanti, spesso assolutamente alla pari con la capitale: la stessa Monaco (anche se sempre più impregnata dallo spirito reazionario), Francoforte, Dresda, Colonia. Ma Berlino era di moda.

Gli artisti – più o meno di successo – i dadaisti, i critici e i poeti, i “comunisti da salotto” si riunivano al Romanisches Café all’angolo tra la Tauetzienstrasse e la Budapeststrasse, “tutti con il monocolo, la camicia di seta e il bastone di pelle di rinoceronte”⁸², e davano appuntamento alle ballerine di successo.

Nel Romanisches Café [...] moltissimi ostentavano l’aspetto e il modo di vestire del poeta: barbe tagliate in fogge strane, cravatte impossibili e lunghe criniere. Ed esibivano ciascuno la propria amica, tutte pittrici o scrittrici che avevano fatto di sé una sorta di *Gesamtkunstwerk*, di opera d’arte totale in senso wagneriano. [...] Riformatori della scuola sedevano gomito a gomito con fanatici d’ogni risma, rivoluzionari accanto a borsaioli, drogati a fianco d’individui dominati da preoccupazioni salutistiche che predicavano il vegetarianismo.⁸³

⁸⁰ Cfr. W. Laqueur, cit., p. 41.

⁸¹ *Ivi*, p. 37.

⁸² *Ivi*, p. 281.

⁸³ *Ivi*, p. 282.

Un'accozzaglia discutibile e variopinta, alla quale ben presto si aggiunse la forte componente della Russia in emigrazione.

La Berlino russa

Nei primissimi anni Venti (fino, grossomodo, al 1924), Berlino venne letteralmente invasa dai russi: dai 70.000 del 1919 si passò ai 250.000 del 1922. La massiccia emigrazione – definitiva per alcuni, per altri solo temporanea – si tradusse in un proliferare di ristoranti, banche, cabaret, teatri, librerie, ambulatori russi: si contavano ben 19 librerie, 3 quotidiani e 6 banche. Secondo le parole di Erenburg,

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств: выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.⁸⁴

Oltre ad Erenburg e Belyj, Berlino in questo periodo ospitò moltissimi altri intellettuali russi, tra cui Gor'kij, Chodasevič e la Berberova, la Cvetaeva, Remizov, Majakovskij, El Lisickij, Kandinskij, Chagall. Quest'ultimo descrisse un quadro simile a quello di Erenburg:

После войны Берлин стал чем-то вроде караван-сарая, где встречались все путешествующие между Москвой и западом... В квартирах на *Bayrischer Platz*

⁸⁴ I. Erenburg, *Ljudi, gody, žizn', Sobranie sočinenij v devjati tomach*, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1966, vol. 8, p. 407.

было столько же самоваров, теософических и толстовских графинь, сколько бывало в Москве.⁸⁵

L'attività che tutti questi artisti svolgevano in città era frenetica: tra iniziative culturali, incontri e dibattiti, trovavano anche il tempo di organizzare mostre, scrivere e pubblicare, approfittando dei bassi costi di pubblicazione dovuti all'inflazione e dell'abbondanza di carta difficilmente reperibile, invece, nella Russia postrivoluzionaria. Nei due anni di permanenza in città, Belyj pubblicò 16 libri ed Erenburg 19: cifre davvero significative che testimoniano il grande lavoro dei fuoriusciti russi.

La Berberova ricorda così quella sorta di periodo dorato:

La Berlino tedesca era solo lo sfondo di quegli anni, la Germania deperita, i soldi deperiti, i cespugli deperiti del Tiergarten, dove ogni tanto al mattino andavo a passeggiare con Muratov. [...]Tra il 1922 e il 1923 il Club Russo si riuniva ogni domenica al caffè Landgraf, che chiamavamo anche "Casa delle Arti". Erenburg, Muratov, Chodasevič, Ocu, Rafalovič, Šklovskij, Pasternak, Lidin, il prof. Jaščenko, Belyj, Vyšeslavcev, Zajcev, io e molti altri leggevamo lì le nostre cose. Sfogliando gli appunti di Chodasevič del 1922-1923 mi rendo conto che non eravamo mai soli, trascorrevamo giorni interi e soprattutto serate insieme agli altri.⁸⁶

Se la Berberova mette in evidenza il vivace clima culturale della Berlino russa, Šklovskij, sfuggito all'arresto della Čeka e riparato a Berlino nel 1922, in *Zoo ili pis'ma ne o ljubvi* (*Zoo o lettere non d'amore*, 1923) ci dà un'immagine di Berlino piuttosto simile a quella tratteggiata da Belyj in *Una dimora nel regno delle tenebre*. Pur lontano dai toni apocalittici di Belyj, Šklovskij descrive in rapidi schizzi una città grigia e monotona, in cui sorgono discutibili *Nachtlokal*:

⁸⁵ Roditi E. *Entretien avec Marc Chagall*, Paris, Preuves, 1958, p. 27, cit. in: J. Bowlt, *Begstvo v Berlin. Ivan Puni v emigraciji*, in *Russkij Berlin 1920-1945. Meždunarodnaja naučnaja konferencija*, Moskva, Russkij Put', 2006, p. 224.

⁸⁶ N. Berberova, *Il corsivo è mio*, a cura di J. Dobovol'skaja, trad. it. di P. Deotto, Milano, Adelphi, 1993, pp. 168, 171.

A Berlino si trovano degli strani locali. Sono capitato al Nachtlokal. Una stanza senza nulla di particolare, sulle pareti delle fotografie. C'è odor di cucina. Il pianoforte suona in sordina. Il violinista strimpella uno strano violino con le tavole armoniche completamente aperte. Il pubblico è silenziosamente ubriaco. Esce una donna nuda che indossa calze nere e balla, allargando le braccia senza alcuna grazia, poi ne esce un'altra, senza calze. [...] A Berlino i russi passeggiano intorno alla Gedächtniskirche, come le mosche volano attorno al lampadario. E così come al lampadario è appesa una sfera di carta anti-mosche, anche in questa chiesa, una strana noce pungente è fissata sopra la croce. Le vie che si vedono dall'alto di questa noce sono ampie. Le case sono tutte uguali, come valigie. [...] Per le strade passeggiano speculatori del mercato nero in ruvidi paltò e professori russi che, a due a due, portano l'ombrello con le mani incrociate dietro la schiena. Ci sono molti tramvai, ma servirsene per girare la città è inutile, dal momento che è tutta uguale. I palazzi provengono da un negozio di palazzi in serie. I monumenti sono come servizi da tavola. [...] Da qui il treno corre verso il Leipzigerplatz e verso altre piazze, dove i mendicanti vendono fiammiferi e i cani che guidano i ciechi giacciono tranquilli, coperti da gualdrappe. Singhiozzano gli organetti: non suonano né *Ach mein lieber Augustin* né *Deutschland, Deutschland über Alles*; gemono semplicemente. È il gemito meccanico di Berlino.⁸⁷

Proprio come Belyj, anche Šklovskij, preso dalla nostalgia per la Russia, vi farà presto ritorno (1923).

Berlino divenne un *topos* tra i letterati che vi avevano vissuto, e finì spesso per acquisire tratti che un tempo erano stati attribuiti a Pietroburgo, capitale artificiale e città d'ombre e fantasmi. L'argomento è stato studiato da Ponomarev in un interessante articolo ("*Berlinskij očerk*" 1920-*ch godov kak variant peterburgskogo teksta*)⁸⁸; l'autore vi evidenzia come Berlino sia divenuta negli anni Venti una sorta di "doppio" della Pietroburgo di Gogol', di Dostoevskij, di Blok e Belyj: una città di tenebra, popolata da straccioni, alcolizzati e prostitute, descritta attraverso un linguaggio figurato e simbolico che ne esalta l'atmosfera di irrealtà e illusorietà.

⁸⁷ V. Šklovskij, *Zoo o lettere non d'amore*, a cura di M. Zalambani, note di A. Galuškin e V. Nechotin, Palermo, Sellerio, 2002, pp. 74, 90-92.

⁸⁸ E. Ponomarev, "*Berlinskij očerk*" 1920-*ch godov kak variant peterburgskogo teksta*, in "Voprosy literatury", 2003, N° 3, <<http://magazines.russ.ru/voplit/2013/3/2p-pr.html>>.

Il parallelo letterario tra Pietroburgo e Berlino nasce e si diffonde proprio in questo periodo; in precedenza solo Dostoevskij aveva individuato elementi comuni tra le due città, mentre generalmente la capitale russa veniva associata a Venezia o Amsterdam.

Nella letteratura russa – di emigrazione e non – degli anni Venti, Berlino acquista caratteristiche ben precise. Innanzitutto, non fa semplicemente da sfondo all'azione di cui si tratta, ma diviene lei stessa personaggio – spesso anzi protagonista – come già lo era stata Pietroburgo, soprattutto in epoca simbolista (particolarmente significativo, a questo proposito, il romanzo di Belyj *Pietroburgo*). Alla città-personaggio viene anche associata un'anima: "... тогда откроется вам душа этого сумасшедшего и прекрасного города"⁸⁹, afferma, ad esempio, Erenburg.

In secondo luogo, le vengono prevalentemente attribuiti tratti negativi: per Členov è una città la cui civiltà sta ormai morendo, per Erenburg "Берлин уныл, однообразен и лишен *couleur local*"⁹⁰. Una descrizione di un ambiente sfatto, in piena rovina è poi quella di Nikitin:

Ночь. Темные подъезды отелей. Подворотни, где, скрываясь от света, прячутся проститутки – мужчины и женщины. На мужчинах – дамские шляпки и боа. А дамы – как дамы... Разврат – в домах – на улицах. Во всех кварталах Берлина, за исключением Моабита – квартала рабочих, ночью женщины скромные и женщины шикарные хватают вас за руки, за спину, смотрят долго, внимательно, предлагают все, что вы хотите.⁹¹

La capitale tedesca viene inoltre raffigurata popolata da "maschere", da allegorie, da personaggi simbolici: "На улицах Берлина, как раньше на улицах Петербурга, появляются воплощения «голых идей»", sottolinea Ponomarev. Se nella Berlino di Belyj circolano il *negro* o *l'uomo dalla testa di cane*, in quella di

⁸⁹ I. Erenburg, *Viza vremeni*, izd. pisatelej v Leningrade, 1933, p. 37, cit. in: E. Ponomarev, cit.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 11, cit. in: E. Ponomarev, cit.

⁹¹ Nikitin Nik., *Sejčas na zapade. Berlin – Rur – London*, Petrograd, 1924, p. 31, cit. in: E. Ponomarev, cit.

Lidin i berlinesi hanno “il sorriso di un derviscio”⁹². Gli uomini si trasformano in simulacri, e la realtà intera sembra scomporsi, perdere di consistenza; tutto è inganno, nulla è come appare:

В Берлине все – “эрзац”. Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек – одни манишки. Когда берешь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь <...> Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку почтенного маргарина.⁹³

Questa città architettonicamente scialba e monotona è febbrilmente agitata da nuovi balli frenetici e scatenati, che divennero presto simbolo – in Belyj e in altri autori – del disfacimento della realtà europea.

I richiami alla Pietroburgo fantasmatica e stracciona di Dostoevskij e Gogol’ sono chiaramente visibili; ma Berlino non è una semplice copia della capitale russa: è un suo doppio diabolico, un luogo malato e perverso, una capitale che ha le caratteristiche di una cittadina di provincia. È una città-stazione, percorsa da infinite linee di metropolitana e tram che vanno a intersecarsi formando una fitta maglia circolare: se Pietroburgo si era trasformata in un punto geometrico individuabile sulla carta⁹⁴, Berlino diventa una circonferenza nella quale si resta inesorabilmente intrappolati. E intrappolati sono i berlinesi stessi, in eterna attesa di un mutamento radicale che probabilmente mai avverrà: “В этом городе, похожем на огромный вокзал, идет действительно вокзальная жизнь”⁹⁵, nota acutamente Erenburg, così come farà, con toni più drammatici, anche Belyj. Altri autori, come Roman Gul’, furono invece affascinati da questa città malata:

⁹² Cfr. V. Lidin, *Morskij skvoznjak*, L. D. Frenkel’, 1923, p. 8, cit. in: E. Ponomarev, cit.

⁹³ I. Erenburg, *Viza vremeni*, cit., p. 18, cit. in: E. Ponomarev, cit.

⁹⁴ Si veda il romanzo di A. Belyj *Pietroburgo*.

⁹⁵ I. Erenburg, *Viza vremeni*, cit., p. 13, cit. in: E. Ponomarev, cit.

Чудесный Берлин. Если нельзя его – как деловую машину – любить, то надо уважать за прямоугольность архитектуры, прямолинейность движения, вымытость мостовых, за намордники на собаках, за равномерное снабжение города разервуарами кислорода, в виде садилов, зеленых площадей, не говоря уже о Тиргартене.⁹⁶

Quali che fossero le impressioni suscitate dalla capitale tedesca, è indubbio che tutti gli intellettuali russi che vi soggiornarono ne restarono fortemente colpiti; ben presto il “mito” di Berlino si diffuse tra loro a macchia d’olio.

~

Quella che pareva una passione improvvisa per la Germania e che aveva reso Berlino il centro di cultura russa più importante al di fuori della Russia stessa, era in realtà facilmente spiegabile.

In primo luogo la Germania era il Paese europeo più facilmente raggiungibile dalla Russia: per questo venne designata come tappa di passaggio da molti intellettuali russi che negli anni della Rivoluzione, del comunismo di guerra e della guerra civile non avevano ancora ben chiaro da che parte schierarsi. Tra il 1921 e il 1924 a Berlino ci fu una vera e propria commistione tra la Russia ostile alla Rivoluzione e la Russia “bolscevica”. Nella RSFSR una convivenza tra la “Russia n.1” e la “Russia n.2” era ormai impossibile, ma a Berlino per un qualche motivo si era creato un terreno neutrale:

Для А. С. Яценко [...] задача его журнала заключалась в том, чтобы быть пунктом встречи эмигрантов и неэмигрантов, в том, чтобы журнал в определенном смысле игнорировал границу и устранял ее. Аналогичную роль исполнял и берлинский «Дом искусств», который, по формулировке Ильи Эренбурга, был местом *смешения* «чистых» и «нечистых».⁹⁷

Dopo questo magico triennio, della Berlino russa rimase ben poco: alcuni, come Belyj e Šklovskij, tornarono in patria, altri si stabilirono definitivamente in altri Paesi, come la Francia.

⁹⁶ R. Gul', *Žizn na fuksa*, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1927, p. 229, cit. in: E. Ponomarev, cit.

⁹⁷ K. Schlegel, *Russkij Berlin: popytka podchoda*, in *Russkij Berlin 1920-1945*, cit., p. 11.

In secondo luogo, con il Trattato di Rapallo del 1922 la Germania aveva ristabilito le relazioni diplomatiche con la Russia, ed offriva dunque un clima più favorevole a quegli emigrati che intendevano un giorno farvi ritorno o semplicemente mantenere il passaporto russo.

D'altra parte, gli emigrati politici (che in futuro non avrebbero potuto fare ritorno nella Russia bolscevica) venivano mal visti dalle autorità tedesche, costrette a far fronte a un vero *boom* di immigrazione in un contesto sociale già di per sé difficile. Con la crisi economica sempre più minacciosa, l'arrivo in Germania di migliaia di sfollati russi (spesso, inoltre, privi di mezzi di sussistenza) non faceva che acuire il problema sociale. Nel dicembre 1921 il VCIK⁹⁸ e il SNK⁹⁹ RSFSR presero una risoluzione: i cittadini assenti dalla Russia da più di cinque anni e quelli che avevano lasciato il Paese senza il permesso delle autorità sarebbero stati privati della cittadinanza russa. In questo modo, moltissimi russi di stanza in Germania si ritrovarono improvvisamente senza cittadinanza. Di fronte a questi avvenimenti le autorità tedesche non poterono che impensierirsi; iniziarono dunque a prendere severi provvedimenti cautelativi per scoraggiare un ulteriore aumento del fenomeno di immigrazione.¹⁰⁰

Dal canto loro, gli intellettuali tedeschi non intrattennero – pur avendone la possibilità – molti contatti con i loro confratelli russi in emigrazione; ciononostante – o, forse, di conseguenza – erano attratti dalla Russia Sovietica e dalla Rivoluzione. Nella Germania di Weimar, che poteva vantare la presenza del KPD e in cui il successo degli ultimi lavori di teatro e cinema russi era stato forte, la fascinazione per la riuscita della Rivoluzione e la curiosità per il nascente mondo sovietico erano particolarmente diffusi tra le fasce colte. Furono quindi molte le iniziative organizzate per conoscere più a fondo la nuova cultura russa; la più importante fu senza dubbio l'esposizione di arte russa (*Erste Russische*

⁹⁸ Vserossijskij central'nyj ispolnitel'nij komitet, Comitato esecutivo centrale panrusso.

⁹⁹ Sovet narodnych komissarov, Consiglio dei commissari del popolo.

¹⁰⁰ Sull'argomento si veda A. V. Vinnik, *Germanskije vlasti i russkij Berlin v 1920-e gg.: po materialam Rossijskogo gosudarstvennogo voennogo archiva*, in *Russkij Berlin 1920-1945*, cit., pp. 363-368.

Kunstaussstellung) inaugurata nell'ottobre del 1922 alla Galerie Van Diemen. Promossa dal Commissariato del popolo per l'istruzione della RSFSR, ebbe un grande successo di pubblico, tanto che Lunačarskij commentò così l'avvenimento, polemizzando con la Russia dell'emigrazione che aveva "tradito" la Rivoluzione:

Si può dire che il tedesco medio si sia rallegrato della possibilità di gettare finalmente uno sguardo su un pezzetto di vita della Russia sovietica. A quanto sembra la Russia n.2 gli è venuta talmente a noia, da convincerlo che non può trattarsi della Russia autentica, e a spingerlo subito a cercare la riprova del suo convincimento nella mostra da noi allestita.¹⁰¹

Molti russi emigrati erano senza dubbio legati alle forze controrivoluzionarie, o erano di famiglia nobile e pertanto visti come sospetti o come nemici dello Stato. Ma non tutta la Berlino russa era – è stato già evidenziato – ostile alla Rivoluzione. A testimonianza di ciò, basti citare quattro case editrici filosovietiche sorte in quegli anni nella capitale tedesca: Petropolis, Gelikon, Gržebin e Skify pubblicarono le opere dei più importanti artisti russi dell'epoca, tra cui Erenburg, Belyj, Blok, Gor'kij, Remizov, Cvetaeva e altri, buona parte dei quali si trovava a Berlino per motivi strettamente personali e non per disaccordo con i principi rivoluzionari.

Fu un periodo idilliaco piuttosto breve:

...alla fine del 1922 e ancor più nel 1923, l'idillio fra emigrati e sovietici si interrompe bruscamente, e cominciano a infuriare quelle polemiche, che infransero il precario equilibrio su cui poggiava la coesistenza dei *puri* e degli *impuri*. [...] Alle scelte di campo si aggiungono le difficoltà economiche. Il 1° giugno 1923 il prezzo della carta sale a 400 marchi, il 1° luglio a 1000 marchi, e provoca la chiusura della maggior parte delle case editrici. [...] Nel 1923 chiude il

¹⁰¹ A. Lunačarskij, *Sobranie sočinenij v 8-mi tomach*, Moskva, 1963-66, IV, p. 251, cit. in: C. Scandura, *La Berlino russa: 1921-1924. Le case editrici*, "Europa Orientalis" 6 (1987), p. 179.

Dom Iskusstv.[...] Gli intellettuali che avevano animato la vita della Berlino russa fanno le valigie.¹⁰²

Ma a descrivere minuziosamente i vivaci anni berlinesi resta una miriade di lettere, appunti, autobiografie, romanzi, dai quali è possibile desumere l'atmosfera peculiare di quel particolare momento di transizione.

¹⁰² Cfr. C. Scandura, cit., p. 190.

La Berlino di Belyj

Il viaggio. La sistemazione. Le occupazioni.

Il 22 ottobre 1921 Belyj arrivò a Riga, prima tappa del viaggio verso la Germania; avendo solo un visto di transito poté però fermarsi in città appena un giorno. Già il 23, dunque, si spostò a Kovno¹⁰³, dove rimase fino al 15 novembre in attesa del visto per la Germania. Della permanenza in Lituania fu nel complesso soddisfatto; in una lettera del 3 novembre alla madre scrisse:

...вот уже около 2х недель я в Литве, в Ковно, в ожидании разрешения мне въехать в Германию. [...] В Ковно я чувствую себя прекрасно; здесь множество русских [...]. Представь себе совсем иную жизнь: освещение, множество продуктов, переполненные кафэ, музыка и т.д. [...] Ко мне литовцы относятся с большим вниманием. [...] Вообще, мне хорошо в Литве.¹⁰⁴

Una volta ottenuto l'agognato visto, lo scrittore si imbarcò a Pilau per Königsberg, dove prese un treno per Berlino. Arrivò nella capitale il 18 novembre e si stabilì in una pensione in Passauerstrasse.

Nelle lettere alla madre Belyj la rassicura ripetutamente circa la propria sistemazione; inoltre, sottolinea più volte il grande numero di russi presenti in città e le numerose occupazioni cui fin da subito si è dedicato:

Что касается меня, то я устроился хорошо и спокойно в Берлине, в чистой светлой теплой комнате с прекрасным пансионом. [...] В Берлине масса русских и из Москвы и из Петербурга (знакомых); устроили здесь «Дом Искусства» и «Вольно-Философскую-Ассоциацию». Дела много. Теперь думаю много работать: писать.¹⁰⁵

¹⁰³ Odierna Kaunas.

¹⁰⁴ Lettera di Belyj alla madre del 3 novembre 1921, cit. in: John E. Malmstad, *Andrej Belyj at home and abroad*, cit., pp. 453-454.

¹⁰⁵ *Ivi*, lettera di Belyj alla madre del 29 dicembre 1921, p. 455.

E ancora:

Мне в Берлине удивительно хорошо в смысле всяких удобств: великолепная пища, комната, уход, покой; но тяжело внутренне. [...] Здесь, в Берлине – все, как прежде; театры, кафэ, туалеты, внешний комфорт; только – подорожало. [...] Здесь более 100.000 русских. Масса знакомых.¹⁰⁶

Я очень занят: пишу книгу, буду продолжать писать роман, редактирую худ<ожественный> журнал; мы открыли отделение «Вольфилы», «Дом Искусства». Здесь масса русских, масса приглашений [...]; в Берлине 105 тысяч русских, русские газеты, рестораны, клубы, лекции. Улица рядом со мною, Tauentzienstrasse, по вечерам покрыта русским говором.¹⁰⁷

Il biennio trascorso in Germania fu particolarmente produttivo per Belyj, tanto che – come già ricordato – lo scrittore pubblicò ben 16 opere, di cui sette riedizioni di precedenti lavori e nove volumi inediti, tra cui *Putevye zametki*, *Posle razluki*, *Vospominanija o Bloke*.¹⁰⁸

*Putevye zametki*¹⁰⁹ (1922) è la rielaborazione di una serie di articoli pubblicati nel 1911 sul quotidiano pietroburghese “Reč”. Si tratta di un *reportage* tipicamente bieliano sul viaggio che lo scrittore e Asja fecero nel 1910 in Italia e in Africa del Nord; l’obiettivo originario era di stabilirsi per un certo periodo in Sicilia, ma successivamente i coniugi decisero di proseguire il viaggio e visitare Tunisi, l’Egitto e la Palestina. L’opera è divisa in cinque capitoli, di cui il primo è dedicato a Venezia e Napoli, il secondo e il terzo alla Sicilia, il quarto e il quinto a Tunisi e all’Egitto. Trattandosi di un resoconto di viaggio stilato da Belyj, non sorprende che abbia caratteristiche a sé stanti, non riconducibili propriamente al genere del *reportage*. Ogni immagine, ogni avvenimento, ogni persona

¹⁰⁶ *Ivi*, lettera di Belyj alla madre del 31 dicembre 1921, p. 458.

¹⁰⁷ *Ivi*, lettera di Belyj alla madre del 6 marzo 1922, pp. 460-461.

¹⁰⁸ Per un elenco dettagliato, si veda K. Močul’skij, *Andrej Belyj*, cit., p. 239.

¹⁰⁹ A. Belyj, *Putevye zametki*, Gelikon, Moskva-Berlin, 1922; per l’edizione italiana: A. Belyj, *Viaggio in Italia*, a cura di G. Strano, Lucarini, Roma, 1989. Il volume italiano comprende solo i primi tre capitoli dell’originale, escludendo gli ultimi due, di ambientazione africana.

incontrata sono filtrate attraverso la coscienza dell'autore, che le interpreta a proprio modo finendo per creare una nuova realtà, trasfigurata e "barocca".

*Posle razluki*¹¹⁰ (1922) è invece l'ultima raccolta di poesie composta da Belyj. Il titolo ha una duplice valenza: si riferisce sia alla raccolta poetica *Razluka* (1922) della Cvetaeva, dopo la cui lettura Belyj fu nuovamente spinto a scrivere in versi, sia al fatto che le poesie al suo interno vennero scritte dopo la separazione definitiva da Asja. Incentrati proprio sulla fine del rapporto tra i due coniugi, questi versi sono più che altro "delle urla, l'ululato isterico e terribile di una bestia ferita a morte".¹¹¹

Vospominanija o Bloke venne pubblicato nei primi quattro numeri della rivista "Epopeja" (1923)¹¹², per poi essere rielaborato e inserito all'interno del più ampio *Načalo veka* (1933)¹¹³. Blok era morto pochi mesi prima della partenza di Belyj per l'Europa, lasciando nel panorama letterario russo un vuoto incolmabile. La morte del poeta, cui era stato legato per molti anni da un complesso rapporto d'amicizia – minato dal comune amore per Ljubov' Dmitrevna Mendeleeva, moglie di Blok – fu per Belyj un "rintocco fatale"¹¹⁴, il segnale della fine di un'epoca. Alla memoria di Blok Belyj dedicò svariati discorsi che confluiranno poi in *Vospominanija o Bloke*. Contrariamente a quanto farebbe presagire il titolo, non si tratta di una classica biografia o di un classico libro di ricordi sull'amico; Blok sembra quasi essere un pretesto per parlare di tutta un'epoca – i primi anni del Novecento – e, soprattutto, per parlare di sé: l'autobiografismo caratteristico di Belyj non lo abbandona nemmeno in quest'opera. Di questo era consapevole lo stesso autore, che immaginava così le lamentele di un possibile lettore del

¹¹⁰ A. Belyj, *Posle razluki*, Epoque, Berlin, 1922.

¹¹¹ Cfr. K. Močul'skij, *Andrej Belyj*, cit., p. 250.

¹¹² A. Belyj, *Vospominanija o Bloke*, in "Epopeja", Gelikon, Berlin, 1923.

¹¹³ A. Belyj, *Načalo veka*, GICHL, Moskva-Leningrad, 1933.

¹¹⁴ Cfr. A. Lavrov, *O Bloke i o drugich: memuarnaja trilogija i memuarnyj žanr u Andreja Belogo*, in *Andrej Belyj. Razyskanija i etjudy*, a cura di A. Lavrov, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2007, p. 233.

libro: "...какие это воспоминанья о Блоке? Проходят – кружки, общество, люди. О Блоке – молчание".¹¹⁵

Oltre a scrivere in modo quasi compulsivo, Belyj collaborò attivamente all'organizzazione della sezione berlinese della *Vol'fila* e del *Dom Iskusstv*¹¹⁶, scrisse articoli per diverse riviste – come *Sovremennye zapiski* e *Novaja russkaja kniga* – lavorò come membro della redazione delle riviste *Epopeja* e *Beseda*, quest'ultima diretta da Gor'kij. Dall'autunno 1922 fu membro del *Klub pisatelej*; per tutta la durata del soggiorno tenne conferenze e partecipò a riunioni e dibattiti.

Stanco dell'atmosfera della capitale, si trasferì per un breve periodo a Zossen, a sud-est di Berlino. Tra la fine del 1922 e l'ottobre del 1923 continuò a spostarsi – sempre più inquieto – tra Berlino, Saarow, Swinemunde, Stettino, fino a che non decise di fare ritorno a Mosca, dove arrivò il 26 ottobre 1923, dopo due brevi tappe a Kovno e Riga.

Asja e Steiner: gli incontri, le delusioni

I ripetuti incontri con Asja, arrivata a Berlino insieme a Steiner¹¹⁷, si conclusero con una rottura insanabile tra i due coniugi. Nonostante l'enorme delusione di fronte al fallimento del loro rapporto, Belyj comprese che Asja si era sempre più addentrata nell'ambiente antroposofico ed era diventata una sorta di fanatica. In una lettera alla madre il 29 dicembre 1921 Belyj scriveva: "Она превратилась в какую-то монашенку, нежелающую ничего знать, кроме

¹¹⁵ A. Belyj, *O Bloke: Vospominanija. Stat'i. Dnevniki. Reči, Vstupitel'naja stat'ja, sostavlenie, podgotovka teksta i kommentarii* A. Lavrova, M., Avtograf, 1997, p. 335, cit. in: A. Lavrov, *O Bloke i o drugich*, cit., p. 239.

¹¹⁶ Il *Dom Iskusstv* berlinese venne inaugurato nel novembre 1921; si trattava di un'organizzazione apolitica comprendente personalità del mondo letterario e artistico russo. I membri organizzavano e tenevano conferenze, lezioni, concerti e via dicendo.

¹¹⁷ Steiner tenne una conferenza a Berlino il 19 novembre 1921; successivamente trascorse circa due settimane a Kristiania, sempre tenendo conferenze, e fece ritorno a Berlino il 7 dicembre. L'11 dello stesso mese tornò a Dornach.

своих духовных исканий”¹¹⁸. In un’altra lettera alla madre, del 6 marzo 1922, descrisse Asja in questi termini: “Ей некогда думать о себе и обо мне, как ей некогда думать ни о чем, кроме своей службы делу Доктора...”¹¹⁹. Ciò non toglie che al momento effettivo della separazione lo scrittore soffrì intensamente (“...и страшно страдала душа: я с Асей все покончил; мы совершенно разошлись; и это было очень, очень больно”¹²⁰).

La seconda delusione riguardò Steiner; il *Dottore* si spinse addirittura a declinare l’invito di Belyj circa un possibile incontro: Belyj si offese oltre misura. Ma rimase insoddisfatto anche dall’ambiente antroposofico europeo, verso il quale si mostrò sempre più critico: definì Steiner “una vecchia scimmia” e il tempio di Dornach “un baraccone”.¹²¹

Il periodo seguente fu segnato da una profonda crisi spirituale, di cui si trova testimonianza – oltre che negli scritti dello stesso Belyj – nei libri di memorie di altri intellettuali russi che soggiornavano a Berlino in quegli anni. La Berberova, in *Il corsivo è mio*, dedica allo scrittore svariate pagine, di cui riportiamo qualche passaggio:

Andrej Belyj ebbe in quel periodo della sua esistenza (1921-1923) una grave crisi. Essendo dal giorno della sua nascita “figlio di sua madre” e non “figlio di suo padre”, durante tutta la giovinezza cercò un padre, che trovò alla vigilia della prima guerra mondiale nella persona dell’antroposofa Rudolf Steiner. Tornato in Occidente nel 1921, dopo gli anni affamati del comunismo di guerra, si trovò di fronte a un fatto drammatico: Steiner lo respinse e Belyj, atterrito dalla solitudine che lo aspettava, rigettato nella vecchia condizione di uomo indifeso, non riuscì a superare il suo stato, né a liberarsene, né ad accettarlo. Le cause del rifiuto di Steiner appaiono chiare a chiunque abbia conosciuto da vicino Belyj negli anni della Germania. A questo si aggiunse che Belyj, dopo cinque anni di vita in Russia, non riebbe colei che pensava sarebbe ritornata *automaticamente*. [...] Il suo vizio

¹¹⁸ Lettera di Belyj alla madre del 29 dicembre 1921, cit. in: John E. Malmstad, *Andrej Belyj at home and abroad*, cit., p. 456.

¹¹⁹ *Ivi*, lettera di Belyj alla madre del 6 marzo 1922, p. 460.

¹²⁰ *Ivi*, lettera di Belyj alla madre del luglio 1922, p. 463.

¹²¹ Cfr. K. Močul’skij, *Andrej Belyj*, cit., p. 237.

di ubriacarsi, la sua verbosità, le sue lamentele, i suoi tormenti insensati e irreparabili gli facevano a volte perdere il controllo di sé.¹²²

Anche Chodasevič fu spettatore della follia isterica alla quale ben presto si abbandonò Belyj:

Весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. [...] Выражалась она главным образом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских *Dielen*. Не в том дело, что он танцевал плохо, а в том, что он танцевал страшно. [...] То был не просто танец пьяного человека: то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство над собой, дьявольская гримаса себе самому.¹²³

D'aspetto mutato, indurito, la calvizie sempre più prominente, lo scrittore “aveva sempre sulle labbra quel sorriso mezzo scemo mezzo pazzo sul quale una volta aveva composto una splendida poesia [...]. Portava quel sorriso come una maschera o come una smorfia infantile, senza toglierla mai, temendo il peggio”¹²⁴.

Una delle persone più vicine a Belyj in questo periodo fu la Cvetaeva, anch'essa testimone esterrefatta e preoccupata delle follie dell'amico: “Il *fox-trot* di Belyj è – lo spirito dei flagellanti più puro: non è nemmeno *svistopljaska* – la danza del fischio, è (è un mio termine) *christopljaska* – la danza del Cristo”¹²⁵.

Nella propria corrispondenza Belyj stesso menzionò senza censure di sorta gli eccessi cui si era dato. Il 15 gennaio 1922 confidò a Ivanov-Razumnik il proprio stato:

Сердце сжимается болью: у меня трагедия: Ася ушла от меня; Штейнер – разочаровывает; движение – пустилось в «пляс» [...]. Нервы расстроились;

¹²² N. Berberova, *Il corsivo è mio*, cit., p. 161.

¹²³ V. Chodasevič, *Nekropol'*, Sankt-Peterburg, Azbuka klassika, 2008, p. 103.

¹²⁴ N. Berberova, *Il corsivo è mio*, cit., p. 164.

¹²⁵ M. Cvetaeva, *Incontri*, trad. it. di M. Doria de Zuliani, Milano, La Tartaruga, 1982, p. 204.

работа не идет. Сознательно стал *пить*; вообразите, – идет ли мне быть *пьяницей*? А я стал *пьяницей* – *от горя!*.. Вот до чего дошел!..¹²⁶

Riportiamo infine anche un estratto da una lettera a S.G.Kaplun¹²⁷, scritta nel medesimo giorno:

У меня ряд разочарований: в Штейнере, в Асе, в движении, в себе самом, в пути, во всем; а я – совершенно один: некому высказаться; знаете, Соня, я стал сознательно пить; невыносимо мне сейчас мое самосознание; хочется его, самосознание, утопить в вине: невыносимо оно. Стал я – *пьяницей*. [...] Встретил Асю, но она – тень прежней Аси, какая-то Эвридика, которую мне, недоорфеившемуся Орфею непосильно вывести из ада антропософских абстракций [...]; пропиваю с горя свои деньги, заработанные в Берлине: плохо, очень плохо!¹²⁸

Il disincanto verso la realtà Europea

Tra balli convulsi, ubriacature, nottate insonni trascorse a rivangare episodi dolorosi del passato, sopportato a stento dagli amici con i quali – prima del ritorno in Russia – ruppe in modo piuttosto brutale¹²⁹, Belyj non si stancò mai di osservare la realtà berlinese. In diverse lettere a Ivanov-Razumnik descrisse il mondo che avrebbe poi messo al centro del *pamphlet Una dimora nel regno delle tenebre*. Attraverso il filtro della propria coscienza alterata e delirante, Belyj captò effettivamente tutti i molteplici segnali del crollo prossimo della società europea. Il ritratto che ne fece fu peraltro particolarmente fosco: è un'Europa da scenario apocalittico, un'Europa ormai defunta che non può in alcun modo reggere il confronto con la Russia postrivoluzionaria, in cui – sottolinea più volte

¹²⁶ A. Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., p. 234.

¹²⁷ Sof'ja Gitmanovna Kaplun (1901-1962), iscritta all'Accademia di Belle Arti di Pietroburgo, iniziò a frequentare la *Vol'fila*, dove conobbe Belyj che le divenne amico. Sposò il poeta Sergej Dmitrievič Spasskij.

¹²⁸ Lettera di Belyj a Sonja Kaplun del 15 gennaio 1922, cit. in: M. Spivak, *Košmar v pissuare: k voprosu o genezise odnogo emigrantskogo vpečatlenija Andreja Belogo*, in "Europa Orientalis" 22, 2003 (2), p. 55.

¹²⁹ L'episodio è raccontato dalla Berberova in *Il corsivo è mio* nel capitolo *Tobia e l'angelo*.

– le persone sono magari ricoperte di stracci, ma hanno, come compensazione, uno sguardo acuto e vivace. Con la Russia “autentica” non poteva competere nemmeno la Russia in emigrazione: quella Russia che aveva rinnegato le proprie origini distaccandosi dall’esperienza rivoluzionario e tagliando definitivamente i ponti con la patria. Fortemente polemico verso questa particolare categoria sociale, incapace di offrire contributi realmente innovativi in ambito artistico, Belyj difese l’originalità e il talento dei letterati rimasti legati alla Russia Sovietica:

Нет спора: в России писать тяжело (нет бумаги, чернил, типографий); и – все-таки: разве не было научных открытий в России [...]; и разве в «российской» России – не восходили таланты? Скажу откровенно: таланты и продолжались, и рождались лишь – там; там – творил Сологуб, рос Замятин, рождались Серапионовы братья, явились: Всеволод Иванов, Пильняк; Ходасевич сказался большущим поэтом, сказала Марина Цветаева; творчески жили: и Гумилёв, и Ахматова; достижения Клюева, Маяковского, Пастернака, Есенина, Шкапской и многих других – не Берлин: здесь явились «талантики»; там – созревали таланты [...].¹³⁰

Così, nella prima lettera scritta a Ivanov-Razumnik dopo il ritorno in patria, il 3 novembre 1923, lo scrittore espresse chiaramente il proprio sollievo per aver abbandonato Berlino:

...а сравнение современной Германии с современной Россией сделало меня «патриотом» России (в совсем особом, скифском смысле). Ужасна Германия: организованно, безвдохновенно, серо, и «соглашательски» тихо садится на дно. [...] Берлин – место, где я получил тяжелейшие жизненные удары, – остается в памяти кошмаром; там я едва не погиб; и не знаю, что было бы со мною там, если бы я не вырвался вовремя; я не идеализирую современной России; но – вот: в прекрасных условиях комфорта сердце мое истекало кровью, а душа томилась в невыразимых беспокойствах, а здесь, в России, я обрел *тишину* и внутреннее счастье. Мне тихо и радостно, что «заграница», куда я ехал долга ради, – уже за плечами.¹³¹

¹³⁰ A. Belyj, *O “Rossii” v Rossii i o “Rossii” v Berline*, in “Beseda”, 1923, N° 1, cit. in: V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., pp. 313-314.

¹³¹ A. Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., pp. 249-250.

Nella lettera del 18 novembre approfondì la questione, sottolineando – argomento che tratterà molto diffusamente in *Una dimora nel regno delle tenebre* – l'improduttività della cultura europea che, un tempo fiorente, ha ora perso ogni slancio vitale:

Вот уже скоро месяц, как я в России; и все еще не могу оправиться от чистой радости; все мне в Москве кажется лучше, умнее, бодрее, чем в разлагающемся воздухе Берлина. 24 месяца жизни в Германии стоят за плечами, как тяжелый кошмар; Берлин – место, где я получил так много ушибов (скорее – ударов), место, где месяцами у меня опускались руки. [...] По-моему Германия Гёте, Фихте, Бетховена, Шумана, Вагнера, Ницше – умерла безвозвратно; Германию Бисмарка (выродившуюся в «фашизм») и Германию социалдемократов я видел; и она, эта Германия, производила отвратнейшее впечатление. [...] Большинство европейских новостей «культуры» появляется в старой плоскости «прошлого мира» [...]. [...] Под конец я заболел особой болезнью: полной невозможностью выносить Германию; и готов был бежать куда угодно, – хоть в Латвию, хоть в Литву, хоть в Чехо-Словакию, только бы разделаться с постылым Берлином.¹³²

Descrisse inoltre all'amico la vita "folle" dei tedeschi, tra tè danzanti, balli sfrenati e ubriacature: la stessa vita dalla quale si era lasciato prendere lui stesso, una vita che, agli occhi di un russo non addentro alla situazione europea, poteva apparire assolutamente fuori luogo:

...в совр<еменной> Германии такой образ жизни в 1922 году вели все – вплоть до профессоров и писателей: в 8 часов запираются двери домов; в пансионах и в комнатах по вечерам нестерпимо: все разговоры и встречи происходят в кафе: *идешь в кафе*, где скрипки просверливают уши и где ритмы подбрасывают в ритмическое хождение, каковым является фокстрот; верите ли: с *июля до ноября* я проплясывал все вечера: утрами писал «Восп<оминания> о Блоке» или перерабатывал эти воспоминания в «Начало Века», а с 10<-ти> до часу регулярно плясал в кафе «Victoria-Luise» [...]. Пишу так подробно о танцах, потому что в России, я знаю с удивлением и неодобрением говорили: «Ужас что, – Белый пляшет фокстрот». И действительно: в России это непонятно; в Берлине же без танцев долго не проживешь; это – естественная привычка, подобная курению папирос:

¹³² А. Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., pp. 253-254-255.

плясали старики, старухи, люди средних лет, молодежь, подростки, дети, профессора и снобы, рабочие и аристократы, проститутки, дамы общества горничные; и русские, пожившие несколько месяцев в Берлине, кончали – танцами. [...]Быт Германии, особенно быт Берлина и курортов, – быт сумасшедшего.¹³³

In un suo discorso ricordato da Vadim Andreev, figlio del più celebre Leonid, espresse con altrettanta chiarezza la propria visione su Europa e Russia:

На Европу надвинулась ночь. [...] Ядовитый газ войны ослепил Европу. [...] В России я был голоден, я вымерз, как земля в тундре, до сих пор вечная мерзлота сидит во мне, но в России я жил и видел живых людей. Таких же промерзших, как я, но живых! А здесь, в Европе, даже великий Штейнер оказался обезьяной.¹³⁴

Una simile animosità nei confronti della società tedesca stupisce alquanto se si confrontano le testimonianze sopra riportate con quelle relative al primo soggiorno dell'autore in Germania. Nel 1906 Belyj si era allontanato dalla Russia e dallo sfortunato amore per Ljubov' Blok, rifugiandosi a Monaco di Baviera, dove si era trattenuto circa due mesi. Della vita a Monaco si dimostrò entusiasta, esaltando da un lato l'ambiente culturale particolarmente attivo (si veda, a titolo d'esempio, la sua assidua frequentazione del *Simplicissimus*), dall'altro la tranquillità della città che influì positivamente sui suoi nervi scossi: "Здесь тихо и просторно. Лечусь молчанием, сосредоточенностью и одиночеством. Каждый лишний месяц, который проведу здесь, прибавит мне здоровья: это чувствую"¹³⁵. Nelle sue descrizioni Monaco diventa quasi un *locus amoenus*, in netta contrapposizione con quella che sarà poi l'immagine di Berlino in *Una dimora nel regno delle tenebre*:

Тихий Мюнхен – веселый Мюнхен. И тихая, веселая ночь, расцветенная луной и лепетом фонтанов. Как приятно забыться, уйти в эту легкую жизнь и хотя бы с месяц уснуть здесь от тревог. Вы становитесь спокойней; вам

¹³³ A. Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, cit., pp. 271-272.

¹³⁴ Cit. in: V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., p. 324.

¹³⁵ Lettera di Belyj alla madre del 1906, cit. in: V. Demin, *Andrej Belyj*, cit., p. 138.

кажется – вы поглупели; но почему ваша работа здесь и легка, и плодотворна? Днем работа. Ночью – букет из *кафе*. Что ни *кафе*, то цветок; здесь аромат резеды, там орхидея, тут деревенский лютик.¹³⁶

Era avvenuto davvero un cambiamento così sostanziale? Probabilmente sì. La guerra aveva inferto un duro colpo alla società europea, la situazione della Germania di Weimar era indubbiamente difficile, e i costumi erano cambiati. La coscienza ipersensibile di Belyj non poteva non percepire i mutamenti in atto, come non poteva non percepire i miasmi e il putridume di una società effettivamente in via di caduta verso l'abisso dei totalitarismi e della Seconda Guerra Mondiale.

¹³⁶ Kievskie vesti, 1908, N° 165, 22 giugno p. 3, cit. in: A. Lavrov, *Dve Germanii Andreja Belogo*, "Europa Orientalis" 22 (2003):2, p. 42.

Una dimora nel regno delle tenebre

L'esperienza berlinese lasciò un tale segno nella memoria di Belyj che lo scrittore ne parlò diffusamente in più occasioni, prima tra tutte nel carteggio con l'amico Ivanov-Razumnik.

Il 14 gennaio 1924, inoltre, tenne al Teatro Mejerchol'd di Mosca una conferenza dal titolo *Odna iz obitelej carstva tenej*, e un mese dopo ne fece una replica alla Pevčeskaja Kapella di Leningrado. Di queste sue lezioni pubbliche non fu molto entusiasta¹³⁷ e si lamentò in modo particolare del pubblico moscovita, ridanciano e superficiale. Alla conferenza del 14 febbraio a Leningrado partecipò anche il futuro critico letterario Maksimov, che in seguito parlò dell'incontro in un breve saggio¹³⁸. Il materiale di queste lezioni venne poi riorganizzato da Belyj in un *pamphlet* dallo stesso titolo, ultimato nel marzo 1924 e pubblicato nello stesso anno per il Gosudarstvennoe Izdanie di Leningrado.

Resta infine il progetto incompiuto di un romanzo dal titolo *Germanija*, non portato a termine a causa della necessità di ultimare due lavori in stadio già avanzato: *Masterstvo Gogolja*, e il terzo volume di *Meždu dvuch revoljucij*. Affascinato dall'atmosfera di estrema decadenza della Germania, lo scrittore – nell'ottobre 1931 – aveva steso i tratti generali del futuro romanzo:

Задание романа «Германия» – дать картину жизни раздавленной после войны Германии и картину растерянности обывателя, прищемленного между молотом революции и наковальней фашизма. [...] Такая картина «гибели Германии» встает в сознании немецкого интеллигента, всем прошлым связанного с недавними «славными» традициями немецкой культуры и понимающего, что с ними покончено. Самопротиворечие влечет героя в бездну падения и морального обнищания.¹³⁹

¹³⁷ Cfr. *Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik - Perepiska*, cit., pp. 283, 289.

¹³⁸ Cfr. D. Maksimov, *O tom, kak ja videl i slyšal Andreja Belogo. Zarisovki izdali*, in *Andrej Belyj. Problemy tvorčestva*, a cura di St. Lesnevskij e A. Michajlov, Moskva, Sovetskij Pisatel', 1988, pp. 615-636.

¹³⁹ A. Belyj, *Plan romana "Germanija"*, cit. in: A. Lavrov, *Dve Germanii Andreja Belogo*, cit., pp. 47-48.

Il progetto di quest'opera incompiuta è stato ormai oggetto di alcuni studi.¹⁴⁰

Passato piuttosto inosservato alla critica è invece *Odna iz obitelej carstva tenej*, che non è mai stato sottoposto a uno studio approfondito. La traduzione che proponiamo qui – la prima completa in italiano, dopo una parziale ad opera di Daniela Rizzi¹⁴¹ – è stata condotta su un'edizione del 1977 pubblicata in Inghilterra per la Prideaux Press¹⁴².

Una dimora nel regno delle tenebre non appartiene a un genere ben definito; in parte libro di memorie, in parte saggio sulla cultura e la civiltà europea dei primi anni Venti, è caratterizzato dall'assenza di trama e dall'assai marcata presenza dell'autore: è esclusivamente attraverso il suo sguardo che il lettore entra in contatto con la realtà berlinese, di cui viene presentata un'immagine decisamente soggettiva e personale.

Ancora una volta, il materiale trattato viene filtrato attraverso la coscienza dello scrittore; in questo modo – cosa tipica della sua memorialistica – si viene a conoscenza più della situazione personale ed emotiva di Belyj e delle sue opinioni, che non dell'effettiva realtà dell'epoca. In poche parole, il libro non può essere considerato una fonte da utilizzare per la ricostruzione storica di quel particolare periodo: semmai, quello che si può ricostruire a partire da questo *pamphlet* è il mondo interiore del suo autore.

La struttura: i capitoli

Dopo la breve introduzione (*Neskol'ko pojasnitel'nich slov*), l'opera è suddivisa in due sezioni. La prima, *O tom, kak "Nekto" popal v Berlin*, è a sua volta suddivisa in due capitoletti (*O tom, kak "Nekto" popal v Berlin* e *O tom, kak*

¹⁴⁰ In particolar modo, si veda il saggio di M. Spivak, *Košmar v pissuare: k voprosu o genezise odnogo emigrantskogo vpečatlenija Andreja Belogo*, "Europa Orientalis" 22 (2003): 2.

¹⁴¹ Cfr. D. Rizzi, *Berlino "negrà"*, "In forma di parole" 7 (1986), n. 2, pp. 66-73.

¹⁴² A. Belyj, *Odna iz obitelej carstva tenej*, Prideaux Press, Letchworth Herts, England, 1977. Tutte le seguenti citazioni saranno tratte da questa edizione, abbreviata nella sigla *CT* seguita dal numero di pagina.

chorošo v Berline), mentre la seconda, *O negre v Evrope*, comprende al suo interno *O negre v Evrope*, *O negre v Berline i ešče koj o čem*, *Moskva i Berlin*.

In *Neskol'ko pojasnitel'nych slov* si ritrovano le principali tematiche dell'opera: il disincanto verso la realtà europea; la decadenza di Berlino, abitata da persone prive di vita, sempre di fretta nel traffico della città, tese per le difficoltà economiche e sociali ("На лицах – растерянность, а в глазах суетливое недоуменье испуга, досады; [...] недоуменно, испуганно ерзают глазки бегущих берлинских мещан [...]"¹⁴³); il regresso della cultura europea verso l'elemento primitivo, il suo non guardare al futuro ma al selvaggio passato, simboleggiato dal "tamburo negro".

O tom, kak "Nekto" popal v Berlin è un resoconto tipicamente bieliano – parodistico e ironico – del viaggio verso la Germania; l'autore si sofferma in particolar modo sulla sua breve permanenza in Lettonia e sul soggiorno in Lituania. Il capitolo ha caratteristiche proprie rispetto al resto del libro: è l'unico in cui Belyj adotta, nella narrazione, uno dei suoi numerosi *alter ego*, assumendo in questo caso il nome di "Qualcuno". L'immagine di Riga è quella di una città molto ricca, i cui abitanti sono però tanto superficiali e spenti da essere ormai completamente privi di individualità: l'individuo "si è dissolto nel proprio vestito", manca addirittura di consistenza corporea. Cacciato dalla capitale lettone, il "Qualcuno" ripara in Lituania, trovando un'atmosfera più amichevole. Nelle tre settimane di permanenza a Kovno, Belyj-Qualcuno ebbe modo di conoscere alcuni intellettuali del Paese e di addentrarsi nell'ambiente culturale lituano; finché, ottenuto finalmente il visto per la Germania, proseguì il viaggio via mare, in piroscampo da Königsberg a Stettino.

O tom, kak chorošo v Berline è un'accurata descrizione della città e dei suoi abitanti. L'analisi dell'immagine bieliana di Berlino sarà condotta in modo approfondito più avanti; per ora basti accennare alle linee principali. Berlino – invasa dai russi – è descritta come un'interminabile sequenza di vie tutte uguali,

¹⁴³ A. Belyj, *CT*, p. 8.

con case tutte uguali, indistinguibili l'una dall'altra; l'ordine che sembra regnarvi fa, in realtà, da guaina a un malessere nascosto, a un caos primordiale – abilmente mascherato – che sobbolle nelle sue fondamenta. Anche i cittadini non sono ciò che sembrano a prima vista: alcuni, dall'apparenza assolutamente rispettabile, si scoprono in seguito essere dediti ai vizi più bassi; altri, dall'apparenza miserevole, sono invece intelligenti e perspicaci uomini di cultura.

In *O negre v Evrope* Belyj si dilunga sulla crisi culturale che, a suo parere, sta colpendo l'Europa. Tutte le espressioni artistiche dell'epoca continuano linee già tracciate nel passato: non forniscono contributi nuovi e originali. Non solo: lo scrittore mette in evidenza la tendenza della cultura a lui contemporanea a riesumare modelli artistici del passato, sia in ambito musicale (con i ritmi sfrenati come quello del fox-trot e la musica “negra” delle orchestre jazz), sia nelle arti figurative. La moda del passato riguarda anche lo stile di vita della gente comune: “...в электрическом блеске пестрейших кафэ, в негритянском ритме фокстротов проступает восток и юг”.¹⁴⁴

Gli ultimi due capitoletti, *O negre v Berline i ešče koj o čem e Moskva i Berlin*, approfondiscono tematiche già trattate in precedenza: torna nuovamente l'immagine di una Berlino “negra”, pervasa dalla decadenza e dalla corruzione, in netto contrasto con la Mosca in cui Belyj farà ritorno verso la fine del 1923.

Caratteristica dell'opera è la non consequenzialità dei diversi capitoli, che possono essere visti come singoli saggi indipendenti l'uno dall'altro.

Mosca e Berlino

Il confronto tra le due città è portato avanti in tutto il libro; attraverso l'uso di un lessico particolarmente espressivo, descrizioni quasi brutali e affermazioni drastiche, Belyj delinea due profili completamente opposti.

¹⁴⁴ A. Belyj, *CT*, p. 44.

Berlino è còlta nel pullulare dei suoi caffè, ristoranti e locali notturni: “...на всех углах улиц – кафэ, рестораны и дилэ, и непременно надпись пивной, прославляющей вывеску фирмы”¹⁴⁵, si legge nel capitolo introduttivo. Ad interrompere la monotonia delle vie grigiastre e tristi (“...и справа и слева уходят в томительно бурые ряды зданий десятков безвкуснейших штрассе...”, “...между радиусами строится сеть серых улиц с однообразнейшими домами; улица неотличима от улицы; дом от дома”)¹⁴⁶ sorgono durante la notte – popolata da spettri sinistri – locali notturni di dubbia reputazione:

«Nachtlocal» – ночные плясульни, ежедневно меняющие свои места и преследуемые полицией; если вы последуете за песьеголовым человеком, – перед вами откроется градация ночного Берлина: полуприличных и неприличных плясулен, игорных притонов, вплоть до курилен опиума.¹⁴⁷

È una città appariscente, modernamente dotata di grandi centri commerciali come il *Kaufhaus des Westens*, attrazione per ricchi bellimbusti stranieri che vi comprano sete raffinate e abiti costosi (i tedeschi non se li possono permettere); ma appena fuori dai grandi magazzini schiere di miserabili e di invalidi di guerra chiedono l’elemosina.

Vera e propria città nella città, sorge poi il quartiere di Charlottenburg, ribattezzato Charlottengrad per l’elevata presenza di russi che porta Belyj a esclamare – citando Puškin – “Здесь русский дух: здесь Русью пахнет!...”.¹⁴⁸ Qui l’autore incontra diversi personaggi di spicco del suo Paese, tra cui il pubblicitista Iosif Gessen, l’ex ministro dell’agricoltura Černov, il filosofo Berdjaev, Zajcev, Pil’njak e via dicendo. In seguito alla massiccia immigrazione, la zona è ricca di locali russi: “...здесь в российском «Медведе» прислуживают кельнера-офицеры (из русских дворянских фамилий); и здесь в кафэ

¹⁴⁵ A. Belyj, *CT*, p. 7.

¹⁴⁶ A. Belyj, *CT*, pp. 7, 31.

¹⁴⁷ A. Belyj, *CT*, p. 60.

¹⁴⁸ A. Belyj, *CT*, p. 30.

«Ruscho» огромное множество русских из Лодзи отчаянно спекулирует: действует черная биржа”.¹⁴⁹

L’atmosfera della capitale è di grande frenesia: tutti sembrano correre indaffarati da qualche parte, mentre auto e tram sfrecciano rapidi e rumorosi per le strade. I borghesi sono sempre colti di corsa (“бюргеры спешно бегут”, “бегущие буржуа”, “вот побежал господин в котелке”)¹⁵⁰, inghiottiti e risputati fuori dall’antro oscuro della metropolitana (“На Виттенбергплац выбрасывает Унтергрудн разбегающиеся кучки людей по звезде улиц, к нему прибегающих, и глотает такие же кучи”)¹⁵¹. Questa “уличная суета”¹⁵² è meticolosamente disciplinata dall’efficiente paletta di un vigile; il caos e il delirio sono accuratamente e metodicamente regolati in un ordine esemplare che tuttavia, a guardar bene, è solo una maschera ingannevole.

Gli abitanti della città si dividono in due categorie. Alla prima appartengono i depravati, i viziosi, i “seguaci del fox-trot” e gli amanti della cocaina. Alcuni di questi si riconoscono subito come tali: “...под звуки фокстрота мордастые дикари-спекулянты всех стран пожирают мороженное из ананасов”¹⁵³. Belyj è affascinato in modo particolare dalla folla danzante che popola i *Diele* e le sale da ballo berlinesi:

Фокстротопоклонники интересовали в Берлине меня; [...] то – бледные, худые юноши с гладко прилизанными проборами, в светлых смокингах и с особенным выражением сумасшедших, перед собой выпученных глаз; что-то строгое, болезненно строгое в их походке; [...] бледные молодые люди и спутницы их: бледные, худощавые барышни с подведенными глазами, с короткими волосами перекисеводородного цвета, дадаизированные, кокаинизированные [...].¹⁵⁴

¹⁴⁹ A. Belyj, *CT*, p. 29.

¹⁵⁰ A. Belyj, *CT*, pp. 7, 8, 31.

¹⁵¹ A. Belyj, *CT*, pp. 28-29.

¹⁵² A. Belyj, *CT*, p. 8.

¹⁵³ A. Belyj, *CT*, p. 33.

¹⁵⁴ A. Belyj, *CT*, p. 58.

La degenerazione di altri è invece più nascosta: molti a tutta prima sembrano individui innocui nella loro banalità, ma poi si rivelano essere dediti ai vizi più terribili. Così, un signore frettoloso con la bombetta e una cartella sotto braccio pare essere diretto a casa dopo una dura giornata di lavoro: e invece si sta dirigendo in una sala da ballo, a scatenarsi in un *boston* estenuante. Allo stesso modo, altri personaggi si rivelano essere l'opposto di quello che sembrano:

И вот открывается после: изящно одетая дама, с опущенным скромно лицом отправляется в... дом свиданья: отдаться безумню извращеннейших мерзостей; томно взирающий юноша, остановивший внимание, «фокстротирует» (идет фокстротной походкой) в... кафэ гомосексуалистов; [...] а невинная девочка с красненьким бантом – ужас: вот к ней подошел старичек, прекорректно одетый, по виду американец; она с ним уходит – куда?¹⁵⁵

L'illusorietà della realtà riguarda anche la seconda categoria di abitanti: l'altra Berlino. Più nascosta, sommersa, quasi in sordina, vive – parallelamente alla Berlino depravata – una Berlino “positiva”; ma è necessario cercarla a fondo, in birrerie fumose e buie i cui avventori hanno l'aria decaduta (Belyj li definisce “бывшие люди”¹⁵⁶) pur essendo in realtà gli unici portatori rimasti della grande cultura tedesca. Così, la signora sciupata che Belyj aveva scambiato per una prostituta è in realtà una pittrice che un tempo frequentava il *Simplicissimus* di Monaco; e il grigiastro e grassoccio *herr direktor* è un raffinato intellettuale, appassionato di Stirner, Schopenhauer e Nietzsche. Inizia dunque a profilarsi uno dei paradossi di Berlino:

Здесь-то, в скромной пивной, среди пьяниц, почти отщепенцев, почти подозрительных личностей мне возникли наследники бывшей великой культуры; они оказались упавшими из «бэль-этажа» берлинской цивилизации – в подвал жизни; а в «бэль-этаже», в курфюрстендаммных кафэ, водворилися «негры» культуры, осыпанные бриллиантами.¹⁵⁷

¹⁵⁵ A. Belyj, *CT*, p. 32.

¹⁵⁶ A. Belyj, *CT*, p.34.

¹⁵⁷ A. Belyj, *CT*, p. 35.

Allo stesso modo, durante il soggiorno a Zossen Belyj scopre un'altra Germania, la Germania dei lavoratori, che nutrendosi solo di qualche patata e di una fetta di pane imburrrata lavorano instancabili da mattino a sera (“Тут я увидел другую Германию, живую и бодрую”).¹⁵⁸

E il paradosso di Berlino emerge infine chiaramente:

...все вывернуто наизнанку со здравого смысла в безумие и с такой педантичностью, что самая организация порядка безумий здесь выглядит педантизмом сухого и здравого смысла [...]; все так доступно, так трезво, понятно, цивилизованно, организовано; и ты – доверяешься [...]. [...] Организованное безумие, бред, фантастичность и мерзость – во все это медленно начинает Берлин распадаться под пристальным взглядом; все – вывернуто наизнанку; и все – сошло с места. [...] Да, вывернулся наизнанку Берлин: и верха утонченной культуры ютятся в сомнительных, грязных низах одуроченной, сумасшедшей, проплеванной жизни; низы же культуры нахальнейше задраны; и сидят в ресторанах, порхают в авто, осыпают себя бриллиантами.¹⁵⁹

Ma affiora anche un altro paradosso: la fretteolosità che sembra regnare a Berlino nasconde in realtà il suo sostanziale immobilismo. La “rivoluzione” che ha vissuto la Germania non ha arrecato alcun cambiamento (“...попавши в Берлин, я увидел все тот же Берлин; Берлин прошлый”¹⁶⁰), non si è nemmeno trattato di una vera rivoluzione: “...революции в Германии не было: был маскарад под флагом революции”¹⁶¹; l’aspetto della città non è mutato: i vigili hanno sempre la stessa divisa, gli abiti dei cittadini sono sempre uguali, le espressioni anche: come se fosse la vecchia Berlino: “...метаморфозы такой нет в Берлине; и – да: динамизм ему чужд; он – статичен”.¹⁶² È un immobilismo malato, che porta ad una morte lenta (...в самом воздухе города носится смерть; и порою хотелось

¹⁵⁸ A. Belyj, *CT*, p. 63.

¹⁵⁹ A. Belyj, *CT*, 31, 33, 36.

¹⁶⁰ A. Belyj, *CT*, p. 65.

¹⁶¹ A. Belyj, *CT*, p. 42.

¹⁶² A. Belyj, *CT*, p. 72.

воскликнуть: «Скорее, скорей бы!»¹⁶³); la lentezza del processo di disfacimento della società tedesca è estenuante; è come se si fosse sempre in attesa di un colpo decisivo che però non giungerà probabilmente mai; la terra trema costantemente in modo appena percettibile, ma si è ben lontani da un terremoto risolutivo. E si avrebbe voglia di una sorta di apocalisse finale, che scuotesse una volta per tutte Berlino dalla sua staticità mortale, dalla sua lenta, troppo graduale, putrefazione.

Se Berlino è uno statico Tartaro infernale popolato da morti, Mosca è per Belyj il suo esatto opposto. Contrassegnata innanzitutto dalla presenza di *luce* (“Да, светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи”, “среди голода, холода, тифа неосвященных Москвы, Ленинграда я чувствовал свет”)¹⁶⁴, Mosca viene associata dall’autore a verbi appartenenti alla sfera semantica del calore (греться, зажигать, затеплять), che contrastano nettamente con la “fredda” morte di Berlino per clorosi. Inoltre, sottolinea Belyj più volte, di certo i vestiti dei moscoviti non sono lustrati e lussuosi come quelli dei berlinesi: ma almeno i moscoviti sono dotati di uno sguardo vivo (“...здесь, на станциях, – за фигурой фигура; здесь все – индивидуумы; там глаза неживые; здесь острота, пронзительность и осмысленность взора, определенная уверенность в поступи”)¹⁶⁵. Se nell’aria tedesca si percepiva insicurezza, qui al contrario si avverte un terreno stabile, nonostante il considerevole sovvertimento causato dalla Rivoluzione. In Russia, nota Belyj, la Rivoluzione si è compiuta a tutti gli effetti, e molti sono stati i cambiamenti: l’Arbat, ad esempio, ha cambiato del tutto fisionomia, sono sorte nuove botteghe e nuove insegne hanno sostituito quelle vecchie, ormai scrostate. In Russia nulla è statico, tutto è dinamico:

¹⁶³ A. Belyj, *CT*, p. 67.

¹⁶⁴ A. Belyj, *CT*, p. 5.

¹⁶⁵ A. Belyj, *CT*, pp. 69, 70.

В жизни недавней Москвы был толчок, от которого повалилися здания; но и – выперли новые недра системой хребтов; изменился рельеф жизни города. [...]Сдвиг был: он сломал все устои, сорвал безжалостно старые вывески, глыбами нагромоздив их стремительно, безповоротно [...]. Мое первое впечатление от Москвы – впечатление источника жизни [...].¹⁶⁶

Da un lato, quindi, la vita berlinese minacciata da una slavina incombente, una vita destinata inesorabilmente alla putrefazione, alla marcescenza, ad una lenta ma inevitabile morte; dall'altra la società russa, risorta, come una fenice, dalle sue stesse ceneri: fresca, vitale, una sorsata di nuova vita, un laboratorio di nuovi esperimenti culturali e artistici.

Il “negro”

Dal proprio soggiorno berlinese Belyj trasse conclusioni decisamente pessimiste nei confronti della cultura tedesca ed europea in generale, un tempo così ricche e vivaci.

Da un lato, le produzioni letterarie tedesche degli anni postbellici non danno nuovi apporti, non introducono nulla di nuovo o di originale:

...по теологии вышло огромное количество книг; может быть, среди них есть и замечательные сочинения, но продолжающие старые традиции; печатаются и книги по философии; Риккерт выпустил первый том своей «Системы философии»; но этот том – продолжение его прежних работ; появился философ Макс Шеллер; но это новое имя не принесло с собой нового содержания [...].¹⁶⁷

Nelle vetrine delle librerie si vedono libri sull'India, sull'antico Egitto, la Cina, il buddismo: sono l'esotico e il passato ad attrarre. Non è un caso, afferma Belyj, che gli scavi archeologici di Frobenius – che riportano alla luce monumenti del passato – abbiano ora un successo simile. Anche le nuove forme d'arte –

¹⁶⁶ A. Belyj, *CT*, pp. 72, 73.

¹⁶⁷ A. Belyj, *CT*, p. 42.

l'espressionismo e il dadaismo – non sono realmente innovative, dal momento che si ispirano all'arte negra, all'arte primitiva: “Я был много раз – nota l'autore – в великолепном музее около Лейпцигерплац, часами простаивая перед памятниками негритянской культуры; она веет чем-то слишком знакомым; в конце концов это тот же экспрессионизм”.¹⁶⁸

D'altro canto, afferma Belyj, la fascinazione per l'esotico e per il passato si rispecchia non solo in ambito artistico, ma anche nella vita di tutti i giorni. È proprio qui che si può assistere a fenomeni realmente nuovi, mai visti prima in Europa: la passione per i ritmi negri del fox-trot, per la cocaina, la morfina, il vandalismo organizzato che ha assunto ora il nome di “fascismo”; tutte manifestazioni della decadenza europea, del suo regresso al mondo primitivo e selvaggio. Sta sorgendo un uomo nuovo, governato dall' “oscuro caos”, dal ventre selvaggio, dal Dioniso barbaro contro il quale metteva in guardia Nietzsche; e l'Europa intera inizia ad essere infestata da un'“Internazionale nera” (“Черный интернационал пополняется продуктом разложения и вырождения буржуазной культуры, ведущей к своего рода дикарству”).¹⁶⁹

Ed ecco che per le strade di Berlino è ormai facile incontrare manifestazioni del *negro*, dell'uomo europeo degenerato e bestiale: “...представителями этого интернационала, с «негроидами» в крови, со склонностями к дадаизму и с ритмом фокстрота в душе переполнен Берлин”.¹⁷⁰ Di notte, per le strade di Berlino, si intravede un'ombra sinistra e misteriosa, l'ombra di un uomo con la testa di cane, simile a quello degli antichi affreschi egiziani: non conduce – come quello – al regno degli Inferi, al giudizio di Osiride; ma trascina i passanti nei *Nachtlocal*, li attira verso il delirio e la sfrenatezza:

¹⁶⁸ A. Belyj, *CT*, pp. 43, 44.

¹⁶⁹ A. Belyj, *CT*, p. 44.

¹⁷⁰ A. Belyj, *CT*, p. 58.

«Песьеголовый» человек – красноречивое явление умирающей части Берлина; «песьеголовым» некогда рисовался негр; этот «негр» – «негр» Берлина, «негр» новой Европы; верней – образ смерти ее, ее рок.¹⁷¹

Il raggio di diffusione del “negro” è ormai estremamente ampio:

Скоро всюду в Берлине вам вскроется «негр»; «негр» пробрался с высот дадаизированной культуры в мелькобуржуазную среду берлинских лавочников, хозяек сдаваемых комнат, держателей пивных, кельнеров [...]; здесь – ритмы фокстрота; и здесь – кокаин [...].¹⁷²

Il disfacimento della realtà europea ha trovato anche espressione artistica; Belyj tratteggia così le tendenze culturali europee dell'epoca:

Какой стиль господствовал в последних десятилетиях среди утонченников буржуазной Европы? Стиль разложения реальности этой Европы; действительность ее на полотнах, в стихах, на орнаменте стала плавиться и разлагаться; все твердые формы рассыпались; сперва они приобрели текучее состояние (импрессионизм, нео-импрессионизм), потом стали диссоциироваться (футуризм, дадаизм); сквозь диссоциируемую действительность новой «заумной», «дадаистической» Европы отчетливо проступила ужаснейшая гримаса негритянского «фетиша», объявленного утонченнейшею формой искусства [...].¹⁷³

I principi borghesi stanno ormai crollando, i vecchi valori vengono distrutti: siamo di fronte a un quadro di caos generale, al sobbollire “dei gas e della lava rivoluzionaria” sotto le fondamenta dell'ordine perbenista borghese, del sistema capitalista instabile. Non è più possibile occultare la degenerazione in atto, il disfacimento e il marciume della vecchia società: “... «маски» покоя, комфорта и мира теперь были сброшены”¹⁷⁴, annuncia solenne Belyj.

Un'Europa del genere, “dadaista”, “cocainizzata”, preda del proprio ventre selvaggio e delle nuove mode da cui “trasudano l'Oriente e il Meridione”, può

¹⁷¹ A. Belyj, *CT*, p. 60.

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ A. Belyj, *CT*, p. 48.

¹⁷⁴ A. Belyj, *CT*, p. 50.

ancora essere chiamata Europa? La risposta, per Belyj, è negativa: “Это – негр в Европе, а не Европа”.¹⁷⁵ Del resto, osservando le varie civiltà che si sono susseguite nel corso della storia, lo scrittore nota che il loro processo evolutivo è, in realtà, *involutivo*. In altre parole, quelle che nel passato erano grandi e avanzate culture – come l’egiziana o quella dell’Isola di Pasqua – sono poi degenerare, e sono state sorpassate da altre. Tale potrebbe essere anche la sorte dell’Europa negra:

И острова Пасхи, и Африка видели в прошлом большие культуры; распад тех культур и породил дикарей; и предоставь мы Европе ее настоящей пассивности, она может стать местом, внутри которого сформируются новые острова Пасхи.¹⁷⁶

Centro di tutto questo processo è la Francia, “una fucina che rifonde gli strati morenti d’Europa in un composto di colore nuovo; si può senza dubbio dire: in un composto di colore nero”.¹⁷⁷

Al discorso metaforico sul *negro* (simbolo dell’uomo decaduto europeo) si intreccia ora una digressione sul mondo delle colonie “di colore” che, a poco a poco, invaderanno l’Europa.¹⁷⁸ Belyj affronta la questione citando dei brani tratti dal suo *Putevye zametki*, scritti ancora nel 1912, ma stupefacenti – a suo parere – per la loro attualità. La Francia “europea” – osserva il nostro scrittore – è solo una minuscola parte del suo volume complessivo: la Francia “africana” (ovvero le colonie francesi in Africa) occupa un’estensione pari a ben ventidue France europee. Per questo la Francia europea è a rischio: è possibile che le sue parti africane prenderanno in futuro il sopravvento:

¹⁷⁵ A. Belyj, *CT*, p. 44.

¹⁷⁶ A. Belyj, *CT*, p. 46.

¹⁷⁷ Cfr. p. 137.

¹⁷⁸ È da sottolineare che Belyj non si schiera, qui, a favore o contro la colonizzazione: il suo non è un discorso socio-politico, allo stesso modo in cui la sua visione della Rivoluzione russa non si basava su un’analisi politica dei fattori che l’avevano causata. Bisogna ricordare che la sua lettura del mondo è sempre – o quasi – simbolica, slegata dalle reali dinamiche storico-sociali.

...кровь с огромною силой прильет к голове организма французской Европы – кровь черная: миллионами негров, мулатов вдруг хлынет в Париж; ...жилы страны разорвутся под мощным напором; и европейскую Францию постигнет удар: почернеет ее голова.¹⁷⁹

L'estensione del dominio africano è tanto grande che ormai il simbolo della Francia non deve più essere considerato il gallo gallico, ma la giraffa; e in Europa a poco a poco arriveranno sempre più coloni negri. L'Europa si sta facendo mulatta: non solo per la comparsa di immigrati dalle colonie (Belyj accenna inoltre alla comparsa di schiere nigeriane e senegalesi in Europa durante il primo conflitto mondiale), ma anche perché la cultura europea – nello specifico francese – sta risentendo dell'influenza negra. Così, ci sono francesi "patrioti della Nigeria", come il colonnello Baratier, che dopo aver combattuto contro i nigeriani ne esalta l'estremo valore ed eroismo; e ci sono dei "neo-francesi" tra i nigeriani, come lo scrittore negro Maran, vincitore del premio Goncourt nel 1921. Il colonialismo francese, il suo "militarismo selvaggio" si sono ritorti contro la Francia stessa, ed è possibile che un giorno, dopo essersi mulattizzata, si negrizzì completamente.

L'Europa borghese è destinata quindi a sfasciarsi, vuoi per una rivoluzione, vuoi per la nuova forza delle sue stesse colonie: dall'apocalisse finale non c'è scampo:

И эти колонии в Европу вливаются; и «негроиды» образуются в разлагающейся буржуазной крови; кровь сочится с верхов «утонченной» Европы в мелкобуржуазное ее сердце; и – разрыв сердца близок; и, переполненное отравленной кровью, оно бьется ритмами фашистского марша и ритмом фокстротов; варварский Дионис открыто явился на улицу современной Европы; Европа оскалилась страшною «дадаистскою», «негритянской» гримасою.¹⁸⁰

¹⁷⁹ A. Belyj, *CT*, pp. 52-53.

¹⁸⁰ A. Belyj, *CT*, p. 57.

Chi è, dunque, il *negro* bieliano? È il simbolo della decadenza della civiltà europea, è il nuovo uomo europeo che, nel proprio agire, segue il richiamo del ventre, obbedisce alla *стихия*, alle forze sotterranee irrazionali e bestiali, trasformandosi in un moderno selvaggio. L'introduzione del tema delle colonie e gli accenni a neonati fenomeni di immigrazione potrebbero in un primo momento fuorviare, e mettere in discussione questa interpretazione. Il discorso sociale è, tuttavia, ben lontano dalle intenzioni di Belyj, per il quale le colonie e i loro abitanti diventano un pretesto per ribadire ulteriormente che il predominio della civiltà europea sta ora giungendo al termine. Anche il *negro* reale – l'uomo di colore di origine africana – è da intendersi come un simbolo: il simbolo del destino fatale che grava sull'Europa, l'immagine della sua ormai prossima apocalisse.

I colori e i suoni

Per caratterizzare le sue descrizioni, Belyj si concentra esclusivamente sulle sfere sensoriali dell'udito e della vista.

Nel capitolo introduttivo, citando Wundt e gli psicofisici l'autore confessa di essere solito associare ad una città un suo tratto tipico, magari minimo, quasi impercettibile, che finisce però per diventarne l'emblema, un *leitmotiv* che gli riemerge nella mente ogniqualvolta rievoca quella precisa città. Se, dunque, Tunisi è da Belyj associata al bianco candido e Monaco all'azzurro, Berlino lo è al marrone-grigiastro. Questa tinta regna incontrastata in tutta l'opera, ed è sempre significativamente legata alla Berlino morente, la Berlino infernale: di volta in volta, ad essere marroni, o bruni, o grigiastri, sono i marciapiedi della città, le vie, le case, gli abitanti stessi; gli aggettivi sono ripetuti in modo ossessivo, maniacale, e diventano così un vero e proprio *leitmotiv*. A distanza di poche frasi troviamo (il corsivo è mio):

...и возникает Берлин *серо-бурым*, с *коричнево-серыми* и зловещими полутенями атмосферы, его обволакивающей [...]. [...] Он, весною отвеяв зеленым листом, нестерпимо жареет ужасною, *бурюю* копотью летом, и *серая буроватая* мгла повисает над ним осенью и зимами; шлепают под ногами *такие же бурые*, мокрые от дождя тротуары; и справа и слева уходят в томительно *бурые* ряды зданий десятков безвкуснейших штрассе [...]. [...] ...и все это - в *бурой*, тоскливейшей дымке; и *бурые*, скучные, пресные бургеры спешно бегут в *буроватых* пальто вдоль тех улиц [...]. ... и нестись вдоль такого же *буроватого*, пренелепого ряда домов в *буроватой* томительной мгле, под *буреющим* небом, над *бурым* асфальтом.¹⁸¹

Si noti, inoltre, l'allitterazione del suono "bur", minaccioso, cupo e sinistro come l'atmosfera della città. Ancora, troviamo "сеть серых улиц"¹⁸², "по улицам мрачного, буро-серого города"¹⁸³, il verbo "побуреть". Contribuiscono a delineare l'immagine di un luogo oscuro e tetto anche altri aggettivi ("теновой", "темный", "полуосвещенный", "полусумеречный"), il sostantivo "тьень" più volte ripetuto, il colore nero evocato dal *negro* e dal *mulatto*, l'ambientazione quasi sempre notturna degli schizzi di vita cittadina.

In questo fosco scenario le uniche luci sono quelle dei negozi, dei caffè, delle sale da ballo. Nel grande magazzino *Kaufhaus des Westens* – definito "блестящий" – splendono le sete esposte: "то градация переходит от голубого к лимонному, то градация переходит от ярко-оранжевого к смутно-лиловому"¹⁸⁴; infrangono il buio della notte le insegne dei locali più svariati: "...вот лилово-вишневое «дилэ», струящее в полусумерки свет крововых огней: вот «дилэ» – лазурно-лимонное [...]"¹⁸⁵; "...здесь, вечером, сияет ослепительно электричество разных кафэ".¹⁸⁶ Ma si tratta sempre di colori e luci artificiali, malati: "...блеск электричества – фосфоресценция

¹⁸¹ A. Belyj, *CT*, pp. 6, 7.

¹⁸² A. Belyj, *CT*, p. 31.

¹⁸³ A. Belyj, *CT*, p. 59.

¹⁸⁴ A. Belyj, *CT*, p. 28.

¹⁸⁵ A. Belyj, *CT*, p. 58.

¹⁸⁶ A. Belyj, *CT*, p. 29.

разложенья”¹⁸⁷, dichiara esplicitamente l’autore. Lividi, come morti viventi, sono poi i personaggi che camminano per le strade di Berlino: pallidi giovani che si muovono meccanicamente, quasi fossero grotteschi automi, accompagnati dalle rispettive compagne, anch’esse pallide, i corti capelli quasi bianchi per l’ossigenatura.

Chiaramente, ancora una volta la contrapposizione con Mosca è notevole. La luce illumina la Russia, ed è una luce calda e viva, che riscalda le persone:

Да, светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. [...] ...среди голода, холода, тифа, неосвещенных Москвы, Ленинграда я чувствовал свет [...]; и – вспыхивал свет просветляющий, нам освещающая, осмысливая кризисы жизни [...].¹⁸⁸

Non si tratta solo di una luce metaforica: diversa è proprio l’atmosfera che si respira nelle strade della capitale russa:

...пропала угрюмость и пустота серых улиц; [...] и они – так пестры от цветных новых вывесок и от продуктов, глядящих из окон; пропала унылого серого цвета шинель; [...] поредела и серого цвета шинель в пестроте азиатской одежды [...].¹⁸⁹

Anche i suoni evocati dalle descrizioni della Berlino di Belyj sono quelli di un regno infernale: dal ritmo tribale del fox-trot allo stridore delle eliche degli aeroplani, dal riso sguaiato dei cittadini e dalle urla degli strilloni al fragore delle auto e dei tram in corsa. È una città caotica, rumorosa, assordante e alienante.

Le nuove danze sono sempre associate al *negro*, all’elemento primitivo; si legge: “...под глухое гуденье фокстроттов, под дикие звуки Джазбанда...”, “...под дикие негрские звуки томительному бостону”, “...в великолепнейших ресторанах господствуют негритянские барабаны”, “...уже даже в XX столетии в тонкие звуки «рояльной» культуры Европы войдет глухо-дикий

¹⁸⁷ A. Belyj, *CT*, p. 68.

¹⁸⁸ A. Belyj, *CT*, pp. 5, 6.

¹⁸⁹ A. Belyj, *CT*, p. 71.

рыдающий звук барабана, «там-тама» [...]»¹⁹⁰. La musica che si può ascoltare ora in Europa è ben diversa da quella di un tempo:

Европа несколько лет сотрясалась не ритмами бетховенских симфоний, а ритмами пушечных перекатов, гуденьями автомобильных гудков, скрежетанием крыльев пропеллеров; эта адская музыка воспитала и революцию, и... «негра» – одновременно – в сознании европейского человечества [...]. [...] Симфония пропеллеров и звуки разрывов «чемоданов», перекликающаяся с начинающейся симфонией гудков, – все это вызвало новые ритмы в Европе [...].¹⁹¹

Al motivo della rivoluzione è legato il boato delle bombe; la musicalità del sostantivo “bomba”, già di per sé onomatopeico, è enfatizzata dal “bum-bum” (“громозвучный” od “очень громкий”) e dal verbo “забумкать”:

... «ля-ля» превратится в звук «бум». И забумкают звуком «бум-бума» пространства Европы. [...] ... сперва «забумкали» звуки орудий; потом «забумкал» джазбанд с каждой улицы и из каждой кофейни.¹⁹²

Altri suoni cupi sono quelli suggeriti dall'immagine del martello pronto a calare sull'ordine borghese e a smantellarlo una volta per tutte, o da quella della valanga mortale sospesa minacciosa sopra Berlino.

Il rapporto autore-narratore. L'autobiografismo.

Una dimora nel regno delle tenebre appartiene, come già evidenziato, a un genere ibrido: agli elementi del saggio si intrecciano i ricordi e le impressioni personali. Non è possibile, in questo caso, parlare di opera autobiografica; le motivazioni alla base di questa affermazione verranno prese in considerazione più avanti. Ciononostante, la presenza dell'*io* dell'autore è molto forte: è la

¹⁹⁰ A. Belyj, *CT*, pp. 8, 32, 33, 54.

¹⁹¹ A. Belyj, *CT*, p. 50.

¹⁹² A. Belyj, *CT*, p. 54.

coscienza di Belyj a filtrare ogni immagine o suono percepiti e a trasfigurarli in una nuova realtà.

Ma l'autore Belyj coincide anche con il narratore? Buona parte del libro è scritta in prima persona: questa prima persona corrisponde a tutti gli effetti al Belyj scrittore? La risposta mi pare sia positiva. L'io narrante ha con Belyj diversi punti di contatto: è un "кровный москвич"¹⁹³, rimasto assente dalla città natale dal 1912 al 1916; durante un breve periodo a Monaco ha frequentato il *Simplicissimus*; ha viaggiato in Africa del Nord, ha scritto *Putevye zametki e Peterburg*; nell'ottobre del 1921 parte da Mosca per stabilirsi a Berlino (che lascia temporaneamente per Zossen); fa ritorno in patria nell'ottobre del 1923. Tutti questi dati, che corrispondono alla biografia effettiva di Belyj, non basterebbero da soli ad esaurire la questione: in altre opere a sfondo autobiografico Belyj aveva adottato lo stratagemma di attribuire ad un *alter ego* vicende ed opere sue personali.¹⁹⁴ Si trattava, tuttavia, di romanzi, quindi di un genere più naturalmente portato alla finzione letteraria; sebbene il nome di Andrej Belyj – o di Boris Bugaev – non compaia mai nell'opera, parrebbe eccessivo voler vedere nell'io narrante innominato l'ennesimo *alter ego* dell'autore.

Nei capitoli scritti in prima persona si può notare l'uso diffuso di verbi di percezione o legati alla sfera della memoria e del ricordo: "чувствовать", "видеть", "помниться", "казаться", "заметить", "думать". Notevole è anche l'insistenza sui pronomi personali di prima persona, in alcune occasioni quasi ridondanti, e sul fatto che si è trattata di una esperienza personale dell'autore: "мои впечатления", "мое пребывание", "для меня возникают вопросы", "мне приходилось" e via dicendo. L'autore si "eclissa" invece in svariate descrizioni della realtà berlinese, nelle quali assume il ruolo di spettatore esterno e distaccato (cosa curiosa, le sue danze sfrenate e le sue ubriacature, di cui non

¹⁹³ A. Belyj, *CT*, p. 65.

¹⁹⁴ Si veda, ad esempio, *Zapiski čudaka*.

taceva in altri scritti, sono qui passate sotto silenzio). In questi casi, Belyj introduce la scenetta facendo uso di espressioni impersonali (“... и потом открывается”, “... и вот открывается после”, “... и открылося”), quasi stesse presentando un quadro dall’esterno, o assistendo ad uno spettacolo teatrale (“...тогда весь Берлин выступал предо мною «обителю царства призраков»”)¹⁹⁵. Anche quando esprime la propria opinione e interviene in prima persona, l’autore non riprende mai se stesso nella medesima inquadratura delle altre persone, che finiscono, dunque, per diventare *suoi* personaggi, marionette da lui osservate dall’alto: “...и стал изучать я ее”,¹⁹⁶ afferma nel capitolo *O tom, kak chorošo v Berline*, riferendosi al gruppo di emarginati sociali che frequentavano la sua stessa birreria.

Un altro espediente utilizzato dalla voce narrante è quello di rivolgersi al lettore con tono di complicità, per coinvolgerlo maggiormente. In alcune situazioni Belyj chiama l’ipotetico lettore direttamente in causa, quasi cercando un dialogo con lui: “...право, думается мне, читатель, и с вами встречались мы”, “Когда мы, читатель, умрем для всего живого...”, “И справедливо читатель меня мог спросить бы [...]. Словом, слышу уже: почему автор нам говорит не о Шпенглере [...]?”.¹⁹⁷ Altre volte invece l’autore ricorre alla prima persona plurale *мы* (“И тут-то, пожалуй, в уличной жизни Берлина встречают нас явления безусловно новые [...], “Сколько раз учили нас в детстве тому, что...”)¹⁹⁸, o alla seconda plurale *вы* (“...вам кажется, что это тот самый песьеголовый человек, который встречает вас на древних фресках Египта [...]”)¹⁹⁹.

Ma nell’opera un *alter ego* c’è ugualmente: nei capitoli *O tom, kak “nekto” popal v Berline* e – parzialmente – *O tom, kak chorošo v Berline*, Belyj adotta la terza persona, narrando le tragicomiche avventure di un “Qualcuno” durante il

¹⁹⁵ A. Belyj, *CT*, p. 6.

¹⁹⁶ A. Belyj, *CT*, p. 33.

¹⁹⁷ A. Belyj, *CT*, pp. 27, 41.

¹⁹⁸ A. Belyj, *CT*, pp. 44, 46.

¹⁹⁹ A. Belyj, *CT*, p. 60.

viaggio da Mosca a Berlino e nei primi giorni nella nuova città. Il passaggio dalla prima persona alla terza viene parzialmente motivato dall'autore all'inizio del capitolo *O tom, kak "nekto" popal v Berline*, dove scrive: "Я буду говорить о «некто»: nomina sunt odiosa".²⁰⁰ La frase – non particolarmente chiara – potrebbe trovare origine nelle teorie antroposofiche di Steiner, per il quale "БЫЛО БЫ ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ НАМ НЕ НУЖНО БЫЛО НИКАКИХ ИМЕН".²⁰¹ L'attribuire un nome alle cose è, per l'antroposofa, una semplice convenzione sociale; anzi, è una consuetudine pericolosa, dal momento che l'essenza di una cosa è ben diversa dal nome che le viene associato; per ricercare l'essenza, afferma Steiner, è necessario estraniarsi dai nomi convenuti e *rinominare* la realtà, superando la convenzione.

Il discorso si intreccia qui alle motivazioni che spingevano Belyj a ricorrere generalmente a pseudonimi o *alter ego*; la componente ideologica antroposofica è, certamente, una variabile, ma una seconda variabile è "un malessere reale di Belyj, che lo affligge tutta la vita", un malessere che riguarda "il problema della distinzione fra uomo e scrittore e del conseguente rifiuto dell'io pubblico".²⁰² In *Una dimora nel regno delle tenebre*, tuttavia, quella dell'utilizzo dell'*alter ego* è una scelta non omogenea, e sembrerebbe dunque più legata alle caratteristiche del capitolo in cui viene adottata. *O tom, kak "nekto" popal v Berline* è, infatti, l'unico capitolo in cui l'autore è effettivamente in azione: lo seguiamo, tappa dopo tappa, nel viaggio da Mosca a Berlino e ne apprendiamo le alterne vicende in Lettonia e Lituania. Ecco, dunque, che l'autore si trasforma in uno dei suoi stessi personaggi e, per meglio analizzarsi e descriversi, assume un'identità altra: quella del "Qualcuno". La voce fuori campo del narratore di questo capitolo rimane quella di Belyj che però, essendo diventato al contempo anche oggetto della narrazione, abbandona la prima persona in favore della terza, osservandosi

²⁰⁰ A. Belyj, *CT*, p. 13.

²⁰¹ A. Belyj, *Vospominanija o Šteinere*, Paris, La Presse Libre, 1982, p. 152, cit. in: C. Criveller, *Le strategie dell'ambiguità in Zapiski čudaka di Andrej Belyj*, cit., p. 338.

²⁰² C. Criveller, *Le strategie dell'ambiguità in Zapiski čudaka di Andrej Belyj*, cit., p. 337.

dall'esterno alla stregua di tutti gli altri suoi personaggi. E come i frettolosi e grigi passanti berlinesi o i giovani cocainomani e seguaci del fox-trot, anche Belyj diviene qui una marionetta gogoliana. Cifra di questo capitolo è, tra l'altro, un'ironia che deriva direttamente da Gogol': un'ironia che colpisce i panciuti parvenu lettoni, i lituani che aggiustano "alla lituana" i nomi stranieri – aggiungendo una desinenza finale in *as* o *is* – e infine se stesso, tragicomico burattino il cui ingresso in Germania viene più volte ostacolato e le cui numerose disavventure più che ispirare compassione suscitano il sorriso. La terza persona sarà poi abbandonata dall'autore nel corso del capitolo seguente (*O tom, kak chorošo v Berline*), senza ulteriori commenti.

Resta aperta la questione legata all'autobiografismo di Belyj, ovvero al livello di veridicità del materiale trattato nelle sue opere a sfondo autobiografico. In altre parole, la realtà raccontata da Belyj in *Una dimora nel regno delle tenebre* corrisponde alla "realtà vera"? Solo parzialmente: il resoconto che ci viene fornito non segue un ordine cronologico, non ripercorre, date alla mano, episodi e avvenimenti della vita berlinese di Belyj. Il libro è una rielaborazione in chiave bieliana di ciò che l'autore aveva vissuto e osservato nel biennio trascorso in Germania, non una fedele ricostruzione di due anni di vita. È lo stesso Belyj a chiarirlo alla fine del capitolo introduttivo:

Я пройду мимо личностей и постараюсь провести перед вами свой «миф», или сказ о Берлине: сожму в фигуральные образы эту обитель тяжелого «царства теней».²⁰³

Lo stile

La lingua dell'opera è quella dell'*интеллектуальный сказ* (*skaz* intellettuale), creato da Belyj stesso seguendo il principio dello *skaz* gogoliano e leskoviano; in realtà, la differenza tra i due tipi di *skaz* è notevole:

²⁰³ A. Belyj, *CT*, p. 10.

Писатель-интеллектуал А. Белый [...] создал особый тип сказа: интеллектуальный сказ, представляющий собой важнейшую доминанту композиционно-речевой структуры его произведении. Это сказ в отличие от сказа «низового героя», ориентированно на просторечие, диалектизмы, профессионализмы и т.п., представляет собой определенного рода интеллектуальную стилизацию, тип художественного повествования, тяготеющего к образу мысли и слогу высокообразованного человека.²⁰⁴

Lo *skaz* bieliano è caratterizzato da una sintassi anomala, da una notevole quantità di figure retoriche, da un'attenzione particolare per il ritmo della frase e l'uso del metro – una delle peculiarità dello “stile ornamentale” sono gli inserti di prosa metrica – dalla ripetizione quasi ossessiva di frasi o parole che diventano *leitmotiv*, dall'ironia e dall'ipertrofia del dettaglio di matrice gogoliana. Proprio a Gogol' Belyj guardò come a un maestro, facendo proprie alcune peculiarità del suo stile (mancanza di trama e di linearità, attenzione per il dettaglio, presenza di tropi, frase spezzata e scardinata rispetto al modello puškiniano “attributo-soggetto-verbo-complemento”). La maggiore innovazione introdotta da Gogol' fu – a parere di Belyj – la perdita di importanza della trama rispetto allo stile: è lo stile a svolgere il ruolo principale, l'intreccio diviene secondario.²⁰⁵

Vediamo dunque più dettagliatamente alcune caratteristiche della lingua di *Una dimora nel regno delle tenebre*.

I tropi

L'opera intera è finemente intessuta delle figure retoriche più svariate, caratteristica, lo si è già sottolineato, tipica della produzione bieliana.

Numerosissime sono le metafore: la luce metaforica delle pagine iniziali (“...среди голода, холода, тифа, неосвященных Москвы, Ленинграда я

²⁰⁴ L. A. Novikov, *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, Moskva, Nauka, 1990, p. 21.

²⁰⁵ Sul rapporto Belyj-Gogol' si veda, ad esempio, il saggio di D. Rizzi *Gogol' nel simbolismo russo: il caso di Belyj*, in “Russica romana” X, 2003, pp. 73-92.

чувствовал свет: свет победы сознания...”)²⁰⁶, il caffè Perkovskij, definito “purgatorio” (“...это место – чистилище, где смываются с душ прегрешения их жизни в Советской России”)²⁰⁷, il “diventare bianco” degli emigrati russi (“...за коридором ты явственно начинаешь белеть”)²⁰⁸, la “nebbia” dell’incertezza (“Германия отступала в туман неизвестности”)²⁰⁹, il focolaio di cultura russa (“...и с вами встречались мы в этом истом рассаднике истинно-русской культуры вчерашнего дня”)²¹⁰, il “piano nobile” e lo “scantinato” della vita (“...они оказались упавшими из «бэль-этажа» берлинской цивилизации – в подвал жизни”)²¹¹, le fondamenta instabili del capitalismo (“Этот обвал – в свою очередь, следствие развития революционных газов и лавы под недавно крепкими почвами капитализма”)²¹² e via di seguito.

Moltissimi sono i simboli che ritornano nel corso dell’opera: i *Diele* e le sale da ballo, i tamburi “negri” delle orchestre jazz, l’uomo con la testa di cane e il “negro”, il caffè Perkovskij (luogo di passaggio al regno delle tenebre), l’Internazionale nera, i mulatti che passeggiano per le strade di Berlino, Berlino stessa (vero e proprio regno infernale), il Dioniso barbaro, il ventre (la forza selvaggia in noi), gli occhi (che in lituani e berlinesi sono assenti o spenti, mentre nei russi brillano di intelligenza). Anche le parole possono diventare simboli²¹³: è il caso del “Bum-bum”, simbolo sia dello scoppio della rivoluzione che dell’elemento primitivo.

²⁰⁶ A. Belyj, *CT*, pp. 5-6.

²⁰⁷ A. Belyj, *CT*, p. 21.

²⁰⁸ *Ibidem*.

²⁰⁹ A. Belyj, *CT*, p. 22.

²¹⁰ A. Belyj, *CT*, p. 27.

²¹¹ A. Belyj, *CT*, p. 35.

²¹² A. Belyj, *CT*, p. 49.

²¹³ Cfr. L. A. Novikov, *Stilistika ornamental’noj prozy Andreja Belogo*, cit., p. 141: “Орнаментальная проза А. Белого характеризуется не только обычными, но и сверхобразными символами, так сказать, символами второго порядка, где в качестве внешнего образа выступает не только предмет, а слово как элемент второй сигнальной системы”.

Le sineddochi (“...то он, опустив грустно нос...”)²¹⁴ cedono il posto agli ossimori (“организованное безумие”)²¹⁵, e alle personificazioni (la metropolitana belinese ingoia e sputa mucchi di persone, quasi fosse un mostro infernale; la Francia nell’immaginario di Belyj diventa una francese mingherlina che progressivamente – con le conquiste coloniali – ingrossa sempre più assomigliando invece a una negra; Berlino alla sera “разрывает в клочки свое одеяние”²¹⁶).

Belyj fa anche ricorso a neologismi come *фокстротопоклонник*, *кокаинизированный*, *дадаизированный*, *мулатизировать*, *забумкать*, e a giochi di parole. Si veda, ad esempio, l’alternanza tra can-can inteso come danza e Kankan città dell’Africa (“Канкан – негрский город, [...] воскресает... в Париже «канканом», дичайшим и отвратительным танцем”)²¹⁷, o il gioco tra *кюхельбекерно* e *курфюрстендаммно*²¹⁸, l’espressione *хаты с краю* utilizzata al contempo in senso proprio e figurato.²¹⁹

Si può inoltre notare la presenza di anafore: “А в Риге тогда не любили Советскую Россию; и в Риге тогда не любили Германию”²²⁰, “...этих негров видала Германия; и Одесса видала их; *этих негров* донине еще созерцает Рурская область”. Uno degli esempi più significativi è comunque quello della ripetizione del *вот* nelle descrizioni:

...*вот* – всегда полупьяный поляк; *вот* потертого вида дородная дама; *вот* обер какого-то рестораника (я потом повстречался с ним в Свинемюнде), *вот* вечно шатающийся, черноусенький чехословак (выводили его очень часто насильно отсюда); *вот* некто потертый и серый, с опухшими веками и в проломленном котелке, – толстячек, именуемый постоянными посетителями герр-директором; *вот* красноносый, приятный, потертый мужчина, с

²¹⁴ A. Belyj, *СТ*, p. 23.

²¹⁵ A. Belyj, *СТ*, p. 31.

²¹⁶ A. Belyj, *СТ*, p. 44.

²¹⁷ A. Belyj, *СТ*, p. 46.

²¹⁸ A. Belyj, *СТ*, p. 27.

²¹⁹ *Хата* letteralmente significa “casa rustica”; mentre l’espressione (*мне*) *хаты с краю* equivale a “me ne lavo le mani, non mi riguarda”.

²²⁰ A. Belyj, *СТ*, p. 15.

преясными, грустными голубыми глазами; *вот* герр-портье из соседнего дома; *вот* герр-полицист из участка, играющий в карты с ослепшим владельцем пивной; а *вот* фрейлейн Марихэн...²²¹

Anche i climax e le accumulazioni sono molto frequenti: “неделями, месяцами, полугодиями”²²², “...в том, что еще не оформилось, не кристаллизовалось, не осело в достижениях”²²³, “маленьких, огромных, средних, приличных, полуприличных, вполне неприличных”²²⁴, “пошлы, обиденны, всеобщи, неубедительны, стары; [...] ядреная, индивидуальная, брызжащая умом и здоровьем”²²⁵, “...переполняет Берлин атмосферой царства теней и подземными, душными, ядовитыми газами”²²⁶, “организованное безумие, бред, фантастичность и мерзость”²²⁷.

Un altro procedimento diffuso, cifra caratteristica della prosa di Belyj, è la ripetizione lessicale, che può avvenire sia nel corso dell'intera opera (con termini che diventano così *leitmotiv* – ad esempio, in questo caso, *разложение, дикарь, мелькобуржуазный, бурый*), sia nel giro di una sola frase o di frasi ravvicinate. Questo in italiano risulta particolarmente ridondante e pesante ma in russo, lingua già di per sé più tollerante delle ripetizioni, non viene percepito come fastidioso, anzi contribuisce a scandire il ritmo interno di una frase o di un brano. Gli esempi sono innumerevoli; qui ne verranno citati solo alcuni:

...мое двухлетнее *пребывание* в Берлине окрашено тeneвыми какими-то настроениями; [...] Да, светом окрашено мое *пребывание* в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. А *пребывание* в Берлине окрашено тенью.²²⁸

Ancora:

²²¹ A. Belyj, *CT*, p. 33.

²²² A. Belyj, *CT*, p. 20.

²²³ A. Belyj, *CT*, p. 43.

²²⁴ A. Belyj, *CT*, p. 59.

²²⁵ A. Belyj, *CT*, p. 72.

²²⁶ A. Belyj, *CT*, p. 73.

²²⁷ A. Belyj, *CT*, p. 33.

²²⁸ A. Belyj, *CT*, p. 5.

...и над Лайсвиц-Аллэ доминирует польская кофейна Перковского, расположенная *коридором* и называемая с горькой иронией «*коридором*», – тем польским, унылейшим *коридором*, которым прошли еще сколькие, и которым еще надлежало пройти всем, собравшимся в «*коридоре*» Перковского; [...] за *коридором* ты явственно начинаешь белеть; «польский *коридор*» есть проход в иной мир: в мир Европы; [...] в «польском *коридоре*» поляки высаживаюь обратно; и в «польском *коридоре*» вагоны пломбируют; так мысли о «польском *коридоре*» мрачили самосознание «нектаса» – в «польской *коридоре*» Перковского [...].²²⁹

O anche:

Но с первого месяца понял я: все это – то, да не то; старый быт опрокинут, *разбит*, но *разбит* не по-нашему; он сохранился как внешность, но он *разбит* в немце; и часто с *разбитием* уклада того в самом немце, *разбит* средний немец в какой-то центральнойшей точке жизни [...].²³⁰

E ancora:

...уверенность современного немца не в нем, а в *покрое* костюма, в который защит он; из-под *покроя* просунулись хаос растерянности, недоуменье, испуг и незнание, что делать с собою; вид города - тоже *покрой*; под *покроем* смятение [...].²³¹

Infine:

...оттого-то он медленно *гибнет* теперь; оттого-то с ним *гибнет* Берлин. Да, берлинец, вершащий когда-то судьбы своей нации, *гибнет* голодную смертью под старым *покроем*; да, то, с чем в Советской России покончено одним духом, стремительно, бесповоротно, – неукоснительно вводит *гибель* в Берлин.²³²

²²⁹ А. Бельи, *СТ*, pp. 21-22.

²³⁰ А. Бельи, *СТ*, p. 66.

²³¹ А. Бельи, *СТ*, pp. 66-67.

²³² А. Бельи, *СТ*, p. 67.

Un'ultima osservazione: si noti l'uso frequentissimo, non usuale e non sempre necessario, dell'aggettivo al grado superlativo (безвкуснейший, тоскливейший, ужаснейший...).

L'ironia

Ironia e grottesco sono altre caratteristiche della prosa di Belyj. Lo scrittore simbolista le riprende in linea diretta da Gogol', per il quale "poiché è ridicola l'essenza stessa del mondo, il ridicolo inevitabilmente diviene la norma, la misura, il criterio di ogni cosa"²³³. La realtà letteraria gogoliana è dunque pervasa da elementi comici e patetici la cui sapiente combinazione suscita il riso.

La maestria di Belyj nel recuperare il modello gogoliano venne notata da diversi critici dell'epoca; tra gli altri, Askol'dov ne scrisse in questi termini: "Его [Белого] реализм почти везде окрашен сгущенным юмором. Как юморист, он в русской литературе имеет себе равного разве только в Гоголе"²³⁴. È nella prefazione alla seconda *Sinfonia* che Belyj parla dell'elemento satirico, affermando:

Второй смысл — сатирический: здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма. Является вопрос, мотивировано ли сатирическое отношение к людям и событиям, существование которых для весьма многих сомнительно. Вместо ответа я могу посоветовать внимательнее приглядеться к окружающей действительности.²³⁵

Novikov commenta così l'espressione: "Второй смысл здесь – сатирический, взгляд на серую будничность со всеми ее уродливыми проявлениями, включая мистику, и вместе с тем высшая точка зрения писателя на жизнь"²³⁶.

²³³ Ellis, *Človek, kotoryj smeetsja. O strašnom sude Gogolja nad mirom i nad samim soboj*, "Vesy" 4 (1909), ora in Ellis, *Neizdannoe i nesobrannoe*, Tomsk, 2000, p. 113, cit. in: D. Rizzi, *Gogol' nel simbolismo russo: il caso di Belyj*, cit., p. 76.

²³⁴ S. Askol'dov, *Tvorčestvo Andreja Belogo*, Literaturnaja mysl'. Al'manach. I.Pg.: Mysl', 1922, p. 79, cit. in: L. A. Novikov, *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, cit., p. 46.

²³⁵ A. Belyj, *Simfonii*, Leningrad, Chudožestvennaja literatura, 1991, p. 89.

²³⁶ L. A. Novikov, *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, cit., p. 52.

L'ironia di Belyj non colpisce solo il mondo circostante: è diretta anche verso la propria persona. L'autoironia è particolarmente evidente in *Zapiski čudaka*, ma se ne possono vedere numerosi esempi in *Una dimora nel regno delle tenebre*, in modo particolare nel capitolo *O tom, kak "neкто" popal v Berline* (non a caso, il più vicino a *Zapiski čudaka* per caratteristiche strutturali). La componente ironico-comico-grottesca non risparmia qui né i lettoni, né i lituani né lo sfortunato "Qualcuno" in loro balia; ne proponiamo qualche esempio:

Все оказались в Ковно! Все стали «оптантами»! Можно было подумать: с момента возникновения литовского государства часть истинно-русских людей (уроженцев Москвы, Ленинграда) себя осознал и литовскими подданными.

В Литве неожиданно вдруг открылось для «некто», что и Кант был литовцем, и что назначена премия государством тому, кто докажет литовское происхождение Канта при помощи осязательных данных; и стало вскрываться предположение: может быть сам великий Коперник, — совсем не поляк, а литовец (подобно Мицкевичу); а за этим вскрывалась туманная перспектива когда-нибудь выяснить, что Хопин (иль Шопен, — не Хопин, а Хопинас (литовец), подобно Ивану Ивановичу, петербургскому обывателю, ставшему в Ковно матерым литовцем: «Подумайте, — *И в а н а с И в а н о в и ч а с!*»²³⁷

Ancora:

И поднималось возмущенье на то, что как только покажешь ты «красный свой паспорт» чиновнику консульства, так уже замечаешь, что нос его передергивает еле заметная судорога, точно нос сдерживает неудержимо щекочущий насморк, как будто из паспорта дует на нос тот сквозняк, образующий насморк; сквозняка иль «восточного ветра» боялись поляки в своем «коридоре» ужасно: и оттого-то вагоны литовские пломбировали они.²³⁸

Infine:

²³⁷ А. Belyj, *СТ*, p. 18.

²³⁸ А. Belyj, *СТ*, p. 22.

Произошла грациознейшая игра в жмурки, когда он явился за получением визы в немецкое консульство, где все знали, что «нектас» поедет надолго в Берлин; тем не менее «нектас» был спрошен чиновником с весьма строгим видом, себе завязавшим глаза: — «Итак вы возвращаетесь через два месяца в Ковно?». И «нектас» воззрившись в глазную повязку чиновника, отвечал: «Я вернусь скоро в Ковно». И с той поры в консульстве в продолжение двух почти лет продолжалась, вероятно, игра: игра в жмурки; чиновник из Ковно выкрикивал: «А где нектас?». И «нектас» с берлинского Victoria-Luisen Strasse откликнулся чиновнику в Ковно: «Ау, здесь я: в Ковно!»²³⁹

Anche nel resto dell'opera, seppure in misura minore, l'elemento ironico è presente; e i tedeschi non ne sono esenti:

Характернейший штрих: мне рассказывали, что во время обстрелов берлинских кварталов обстреливающие и обстреливаемые старательно обходили газоны: ходить по газонам — «verboten»; «verboten», — вот то, что висит над душою Берлина [...].²⁴⁰

La sintassi. Il ritmo.

Dal punto di vista sintattico prevalgono frasi lunghe, composte da più periodi coordinati per asindeto o tramite participi. Peculiare è l'uso della punteggiatura: Belyj predilige i due punti e il punto e virgola,²⁴¹ segni di interpunzione che creano, all'interno del discorso, pause più forti di una semplice virgola, ma meno intense di un punto. Anche il tirè è ampiamente utilizzato a questo scopo dall'autore:

Слова и фразы переключаются в новые системы смысла. Нигде нет линейной, бесперебойной фразы – скобки, кавычки, тире вводят побочные темы, образы, разрывая один смысл другим. Отсюда сложная пунктуация

²³⁹ А. Бельи, *СТ*, р. 24.

²⁴⁰ А. Бельи, *СТ*, р. 67.

²⁴¹ Novikov a questo proposito nota: “Один из наиболее употребительных у А. Белого и характерных для его пунктуации – точка с запятой. Этот знак полифункционален. Здесь же отметим только одну его функцию – органическое объединение частей сложного целого (или в ином направлении: разделение целого на взаимосвязанные части”, in: L. A. Novikov, *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, cit., р. 155).

фраз, создающая прозрачную мозаичную, импрессионистическую фактуру письма.²⁴²

Il risultato è un andamento saltellante, caratterizzato da impennate improvvise e frasi spezzate, interrotte in modo innaturale e improvviso:

И вот открывается после: изящно одетая дама, с опущенным скромно лицом отправляется в... дом свиданья: отдаться безумию извращеннейших мерзостей [...]. [...] ...не раз с герр директором действительность современной Германии мы взрывали; и устанавливали: неизбежность германского Октября в близком будущем [...].²⁴³

Citiamo ancora un esempio significativo:

«Кадеве» – не по карману для немцев; и даже – потом открывается: не по карману Шарлоттенград; он – для русских по преимуществу. [...] Жизнь Виттенбергплац лишь изредка нарушается: облавою полицейских на черную биржу; и нарушается еще реже – коммунистической манифестацией; поднимаются красные флаги; и – проплывают: в раскрытую бездну кварталов.²⁴⁴

L'ordine delle parole, inoltre, viene spesso infranto. I motivi sono molteplici: “spezzare” ulteriormente la frase e renderla non prevedibile, attribuire maggiore importanza ad una determinata parola che viene posta in posizione di rilievo (all'inizio o alla fine di una proposizione), creare uno schema metrico particolare. Le “inversioni” si ripercorrono in tutto il testo, dalle più semplici (“шпиц церкви той”, “одно время любил заходит я”, “не удивился никто бы”)²⁴⁵, alle più complesse: “кризисом прошлого должен был чужестранцев встречать многошумный Берлин” o “не выстрадал новых он творчесих дум”.²⁴⁶

²⁴² I. I. Ioffe, *Sintetičeskaja istorija iskusstv: vvedenie v istoriju chudožestvennogo myšlenija*, Leningrad, Lenizogiz, 1933, p. 350, cit. in: L. A. Novikov, *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, cit., p. 155.

²⁴³ A. Belyj, *CT*, pp. 33, 34.

²⁴⁴ A. Belyj, *CT*, pp. 28, 29.

²⁴⁵ A. Belyj, *CT*, pp. 31, 33, 36.

²⁴⁶ A. Belyj, *CT*, pp. 65, 67.

Abbiamo detto che tale procedimento ha anche una finalità metrica: questo perché la prosa ornamentale di Belyj scaturisce direttamente dalla poesia, ne condivide la forma. Se già altri scrittori avevano cercato di utilizzare in prosa – parzialmente – modelli poetici, fu proprio Belyj a tentare di metricizzare un testo nella sua interezza: “Именно такая – тотальная и нефункциональная – метризация текста [...] была воспринята его современниками как подлинный переворот в искусстве прозы”.²⁴⁷ Questo procedimento, nota ancora Orlickij, consente di percepire una sequenza di frasi come al contempo soggette o non soggette alla metrica, creando un effetto di raddoppiamento del testo.

In *Una dimora nel regno delle tenebre* la scrittura in prosa metrica è particolarmente evidente nei casi in cui una stessa locuzione viene ripetuta consequenzialmente:

А в Риге тогда не любили Советскую Россию;
И в Риге тогда не любили Германию,²⁴⁸

dove prevalgono gli anfibrachi, come anche in:

Точно все тронулось во внутреннем мире современного буржуа,
Точно он охвачен порывом, несущим его.²⁴⁹

Un linguaggio, dunque, denso e “barocco”, che riesce a ricreare una sequenza di immagini vivide e suggestive, grottesche e deformi, specchio dell’interiorità visionaria dell’autore.

²⁴⁷ Ju. B. Orlickij, *Russkaja proza XX veka: reforma Andreja Belogo*, in *Andrej Belyj. Publikacij. Issledovanija*, a cura di A. Bojčuk, Moskva, IMLI RAN, 2002, p. 171.

²⁴⁸ A. Belyj, *CT*, p. 15.

²⁴⁹ A. Belyj, *CT*, p. 49.

Una dimora nel regno delle tenebre

Qualche parola di chiarimento

Mi è molto difficile confidare le impressioni del mio soggiorno in Germania, ed ecco perché: per tutta la vita mi sono definito un occidentalista; più d'una volta ho scritto sulla mediocrità dello slavofilismo; provavo avversione per il manifestarsi del cosiddetto "spirito russo"; mi erano estranei tutti quei sapori di autocompiacimento nazionale; le mie esperienze del noto atteggiamento "i russi avranno facilmente la meglio sull'Europa" mi riempivano di disgusto; tra l'altro: temo che le conclusioni delle mie impressioni su un frammento di Europa contemporanea e il confronto di questo frammento con la Russia sembreranno a molti un autocompiacimento del genere; la mia permanenza di due anni a Berlino è tinta di certi umori ombrosi; e il loro confronto con lo stato d'animo derivante dal lavoro e dalla vita in Russia tra il '18 e il '21 richiama un confronto fra tenebra e luce. Sì, di luce era tinto il mio soggiorno a Mosca e Leningrado in un'epoca non lontana. Ma la permanenza a Berlino è tinta d'ombre.

Preciso subito: non parlo delle difficili condizioni di vita in appartamenti freddi, carenti di viveri, distrutti, e nemmeno dell'adempimento di doveri quotidiani, ma di qualcos'altro; in mezzo alla fame, al freddo, al tifo, alle Mosca e Leningrado prive di illuminazione, io percepivo la luce: la luce della vittoria della coscienza che si è ampliata e si libra sul corpo, sulla natura animalesca. Molti erano riscaldati dai problemi sulla sorte dell'umanità: infiammavano pensieri universali nella propria mente, infondevano sentimenti universali nei cuori, condensavano volontà nelle mani. Splendeva una luce rasserenante, che illuminava e chiariva le crisi della nostra vita; e questa svolta della coscienza scolpiva un qualcosa di nuovo.

Nei ristoranti di Berlino illuminati e arredati lussuosamente ho assistito più d'una volta allo spegnersi desolante della coscienza, sovraccarica per il benessere frutto del conservatorismo; all'uscita dal ristorante essa si frantumava sulla strada, che allungava sui borghesi le sue ombre terrificanti. Sentivo lo spegnersi

della luce che mi aveva illuminato in Russia; ero accerchiato da manifestazioni di coscienze paralizzate, contratte, precipitanti nell'abbraccio della natura animalesca; e l'intera Berlino si esibiva ai miei occhi come "una dimora del regno degli spettri".

Inoltre: tutti voi conoscete quel fenomeno che Wundt¹ e gli psicofisici cercano di definire come "analogia delle sensazioni", quando si percepisce in modo vivido e preciso un suono come colore, o un colore come suono; spesso tutti noi, quando arriviamo per la prima volta in una città che ci è ancora sconosciuta e ne troviamo l'intima essenza, la fissiamo in un piccolo tratto tipico, in un *leitmotiv* che finisce per accompagnarci dappertutto. Ad esempio, quando da una gamma di molti colori ne emerge vivido solo uno; e ad esso si legano le percezioni interiori di una città, di un paese, di una classe; in questo senso parlo del colore di un paese o di una città. Così, un tempo Monaco mi evocava l'azzurro: Tunisi il bianco candido; Il Cairo una certa sfumatura di marrone; e Berlino un grigio-brunastro, con le sinistre penombre grigio-marroni dell'atmosfera che la avvolge; me la immaginavo come lo sfondo di un quadro raffigurante il regno delle tenebre degli antichi greci, o come l'oscura dimora degli Inferi d'Egitto, dove il severo Osiride infligge sui defunti il suo terribile giudizio.

Di questa atmosfera è tinta Berlino.

La città, percorsa in primavera da una verde brezza, d'estate arroventa in modo insopportabile un'orribile fuliggine grigiastra; in autunno e in inverno pende su di lei una nebbia grigio-bruna. Risuonano sotto i piedi marciapiedi altrettanto cupi, bagnati di pioggia; a destra e a sinistra, in file di estenuanti edifici marroni, si allontanano decine di strade prive di gusto, elencanti i nomi degli Hohenzollern, degli Asburgo, degli Hohenstaufen. Non corrono parallele, ma creano degli incroci stellati; nel mezzo c'è un misero giardinetto, in cui sta seduta una vecchietta; il suo cagnolino, accucciato davanti, alza il naso verso un

¹ Wilhelm Wundt (1832-1920), psicologo e fisiologo tedesco; applicò alla psicologia i metodi usati per le scienze biologiche secondo un criterio di parallelismo psicofisico.

monumento orrendo che ricorda un mucchio di pesante terraglia; ad ogni angolo di strada: caffè, ristoranti, *Diele*, e l'immane insegna di una birreria che pubblicizza una marca di birra: qui Patzenhofer, lì Schultheiss, Berliner, Kindl e via dicendo (solo a Victoria-Luise Platz ho contato fino a tredici locali di questo tipo); e tutto ciò è immerso in un fumo brunastro, opprimente; e marroni, tediosi, insulsi borghesi corrono frettolosamente, indossando cappotti grigiastri, lungo quelle vie, quei giardini pubblici, quelle piazze, e sprofondano nel buco che si spalanca lì nel mezzo, per sbucare fuori da qualche altra parte (magari in un quartiere lontano) esattamente da un simile buco; e davanti ecco di nuovo una statua, un giardino, una vecchietta col cane; e via lungo un'altra grigiastra, insensata fila di case nella grigiastra e spossante foschia, sotto un cielo sempre più cupo, sull'asfalto bruno-grigiastro.

Ricordo, qualcuno ha definito il cielo di questa città di un tenero lilla: può essere che questa sfumatura esista. Non so: non l'ho vista.

Sui volti smarrimento, negli occhi un irrequieto imbarazzo per la paura, per il dispetto; dispetto per il presente, e paura per il futuro; il valore del marco è crollato di nuovo; i comunisti si danno da fare; Ludendorff² minaccia da lontano; non si può non riconoscerlo: il potere sovietico si sta imponendo; ed è un bene che Maltzan³ si incontri lì con qualcuno che proviene dall'Est; tuttavia: può essere, certo, che Poincaré⁴ domani muti in benevolenza la sua ira; e può essere che l'Inghilterra ci venga in aiuto. Così, in mezzo agli "in quanto, poiché", si agitano con perplessità e spavento gli occhietti dei borghesi berlinesi in perpetuo movimento per gli augustissimi corsi e le augustissime vie senza gusto:

² Erich Ludendorff (1865-1937), capo di stato maggiore di Hindenburg durante la Prima Guerra Mondiale; esonerato dal servizio nel 1918 si avvicinò all'estrema destra, partecipò al putsch di Monaco e fondò nel 1926 un proprio partito razzista.

³ Adolf Maltzan (1877-1927), diplomatico tedesco. Nel 1922 prese parte ai lavori della Conferenza di Genova e alla stesura del Trattato di Rapallo tra Germania e Unione Sovietica.

⁴ Raymond Poincaré (1860-1934), politico francese, compì scelte nazionaliste e antitedesche. Presidente del Consiglio tra il '22 e il '24, pretese un'applicazione più restrittiva del Trattato di Versailles, giungendo alla rottura con la Gran Bretagna.

Kaiserallee, Bismarckstraße, Hohenzollern Platz, Hohenstaufenstraße, Wilhelmstraße e Friedrichstraße. E ai chioschi del cambio: code; *ausländer*⁵.

O terribile, grigia città che si sta spegnendo.

Sembra che questi borghesi che corrono tra i miraggi di una vita irrequieta e insensata abbiano offuscato la propria luce nel sonno; ed ecco la fretteolosità della strada, regolata dall'esemplare paletta di un vigile in verde, lo sfrecciare dei tram, le auto ferme in attesa (e chi vi può andare, al giorno d'oggi!), le urla degli strilloni: "Be-Zett, Morgenpost", il caos quotidiano e delirante regolato in un ordine esemplare; e sembra che la vita che vi avvolge, insieme ai cupi edifici, al cielo che li sovrasta, ai marciapiedi e ai tram, mese dopo mese affondi ordinatamente al rombo sordo di un fox-trot, ai suoni selvaggi di un'orchestrina jazz⁶, che fluttuano striduli da una vicina sala da ballo.

E malgrado tutte le proteste della coscienza e i pensieri universali che vivono in voi, iniziate a essere trascinati in quel cupo fondale dall'organizzazione e dall'ordine.

E allora mi chiedo: possibile che gli eredi diretti della grande cultura tedesca – della sua musica, della sua poesia, del suo pensiero, delle sue scienze – ora se ne distaccino, e trovino ispirazione non nell'appello di Fichte, di Hegel, di Goethe e di Beethoven, ma in quello del fox-trot? Possibile che l'umanità venga attirata non dalla luce del futuro, ma dal remoto e selvaggio passato, sotto forma di un tamburo da negri? Ho studiato per molto tempo la cultura tradizionale tedesca, e in questi mesi di permanenza in Germania più di una volta mi è toccato constatare, imbarazzato, che quella grande cultura come non esisteva nel modo di vivere dei tedeschi che all'improvviso mi comparivano davanti; e per noi russi non è possibile imparare in Germania la nuova parola della cultura. Non ci resta che assimilare le acquisizioni del suo recente passato: la tecnica e la scienza.

⁵ Stranieri (*N.d.A.*).

⁶ Particolare insieme di tamburi, campanelle e targhette (*N.d.A.*).

Mi è difficile accennare anche all'orizzonte intellettuale della moltitudine di russi che sono tristemente avvolti nelle tenebre della città grigio-brunastra, che tristemente rimescolano la brodaglia di un passato sradicato e morente, che in cinque anni non sono riusciti a creare nulla di originale né in ambito artistico né in quello speculativo, che consolidano la grigiatura politica da caffè, che sprofondano nella lettura delle pagine dei romanzi grigiastri di Krasnov⁷, che proclamano poesia nazionale i versi di Saša Čěrnj⁸. Sì, ho visto gli emigrati. Con molti mi sono confrontato; tra loro, certo, ci sono persone di ogni sorta, sia chi comprende la sterilità della condizione di emigrati, sia chi non la comprende affatto; non voglio aggredire la gente; non voglio parlare degli emigrati e dell'emigrazione. All'estero ho lodato la cultura creata nella Russia Sovietica; mi sono pronunciato con la massima asprezza sulla cultura della Russia "berlinese", a Berlino; e proprio per questo a Mosca non ho voglia di soffermarmi sulla scomparsa degli impulsi creativi tra i russi di Berlino, dove tutto ciò che è nuovo e fresco è stato creato solo da fuoriusciti di Leningrado e Mosca, cioè da ospiti temporanei della Germania.

Passerò oltre gli individui singoli e cercherò di presentarvi il mio "mito", o racconto di Berlino: presenterò in immagini figurate questa dimora del cupo "regno delle tenebre".

⁷ Pětr Nikolaevič Krasnov (1869-1947), generale dell'armata imperiale russa, scrittore e pubblicitista. Dopo il 1917 si diede all'attività controrivoluzionaria fino a che non fu costretto a emigrare nel 1920. Visse in Francia e in Germania, dove proseguì la sua attività antibolscevica. A Berlino pubblicò nel 1921-22 *Ot dvuglavogo Orla k krasnomu znamenju*, tradotto anche in italiano in epoca fascista. Nel 1945 venne catturato dagli inglesi e riconsegnato in patria, dove fu impiccato.

⁸ Saša Čěrnj (1880-1932), pseudonimo di Aleksandr Michajlovič Glinkberg. Poeta russo del secolo d'argento; emigrò dopo la rivoluzione, lavorando per diversi giornali europei e continuando la propria produzione satirica.

Di come Qualcuno è capitato a Berlino

Di come Qualcuno è capitato a Berlino

Parlerò di un Qualcuno: nomina sunt odiosa.

Questo Qualcuno non è scappato di corsa dalla Russia Sovietica; Qualcuno aveva all'estero affari urgenti e vitali; Qualcuno a stento è riuscito ad andar via dalla Russia; non aveva pronto il visto tedesco; aveva intenzione di chiederlo una volta arrivato a Riga⁹.

Qualcuno aveva sentito parlare molto della sazia vita soddisfatta nella felice Lettonia; arrivò a Riga e non ne ricavò alcuna gioia: nell'aria stagnava il putrido grigiore della fanghiglia ottobrina, una plumbea nebbia si specchiava nell'acqua; sfacciatamente per degli oggetti solidi chiedevano moltissimi soldi a quel russo sospetto, riconoscendo all'istante, dal suo aspetto (un berretto logoro e un cappotto di strana foggia), un portatore del veleno bolscevico. Il malinconico motivo di Sac¹⁰ da "La vita dell'uomo" risuonava distintamente nell'atmosfera della capitale della Grande Lettonia; e "Qualcuno in grigio"¹¹ accolse Qualcuno sotto forma di un noiosissimo e volgare foglietto stampato dagli emigrati russi.

Gli alteri cittadini lettoni, che si distinguono per la pienezza e il peso specifico delle loro pance e nasi, nell'unico giorno in cui Qualcuno rimase a Riga lo rallegrarono ripetutamente: con aria accondiscendente gli facevano notare che tutto quello che Qualcuno vedeva e sentiva era ricco e florido, mentre a Qualcuno pareva che tutto quello che lo circondava fosse misero e banale; era pesante essere attornati dall'insulsa mancanza di gusto che accompagnava i parvenu; al posto di una solenne sfarzosità, questa mancanza di gusto

⁹ La Lettonia era entrata a far parte dell'Impero Russo nel corso del Settecento; durante la Prima Guerra mondiale venne occupata dai tedeschi, ma al termine del conflitto (1918) fu dichiarata indipendente. La Russia bolscevica tuttavia ne riconobbe l'indipendenza solo nel 1920. Il nuovo Stato lettone conobbe profonde riforme democratiche fino all'avvento al potere di K.Ulmanis (1934), che instaurò un regime autocratico. Nel 1940, dopo il patto Molotov-Ribbentrop, la Lettonia tornò nella sfera di influenza russa e divenne una delle repubbliche dell'Urss.

¹⁰ Il'ja Aleksandrovič Sac (1875-1912): compositore russo. Tra le altre sue opere, musicò il dramma di Andreev *Žizn' Človeka* (1907).

¹¹ Citazione dal prologo di *La vita dell'uomo* di Andreev.

presentava davanti allo sguardo di Qualcuno solo dei fabbricanti di berretti con visiera vestiti poveramente: si parlavano in russo ed erano scrutati dall'occhio di un panciuto parvenu di passaggio, che incrociava i poveri con aria tronfia: ricordava il tentativo del ranocchio a uguagliare il bue¹². Qualcuno quel giorno pensava: dov'è finita la lucidità dello sguardo russo, alla quale sono così abituato? In confronto a Riga, nei viali distrutti e freddi di Mosca e Leningrado vaga una folla di straccioni: ma gli occhi di questi straccioni sono vivi, lo sguardo è acuto e testimonia l'ostinatezza della tendenza ideologica; Qualcuno è abituato a che i passanti, per strada, abbiano degli occhi. E dunque per questo l'aveva turbato l'assenza di occhi nei rispettabili borghesi che si incontrano nelle rispettabili vie della grande capitale lettone: "Dove sono gli occhi?", pensava. Al posto degli occhi, solo buchi con..... l'assenza di uno sguardo animato. L'assenza di occhi negli acculturati passanti lettoni lo spaventava: sì, gli occhi erano scomparsi; ma al loro posto erano apparsi dei sopra-occhi e sotto-occhi sotto forma di una nera bombetta e di un cappotto d'aspetto decente che facevano da cornice a quel punto al centro del vestito, quel punto senz'occhi e nudo che abitualmente a Leningrado e Mosca prende il nome di "volto"; ma il volto i cittadini lettoni non l'avevano affatto: l'individuo qui si era chiaramente dissolto nel proprio vestito.

Allora Qualcuno si immalinconì. Ricordò: recentemente aveva partecipato ad una affollata assemblea; una massa di straccioni riempiva un'aula enorme, in cui risuonavano ricercate discussioni su *Gli Sciti* e *I dodici* di Blok; ricordò che degli straccioni l'avevano salutato con parole piene di calore e sincere; ricordò che un giovane sconosciuto, vestito degli stessi stracci di tutti gli altri, gli aveva detto: "Ascolti, Qualcuno: quando, all'estero, rimarrà solo, quando sarà colto da tristezza e pena, allora si ricordi che noi la amiamo, che noi la ricordiamo; e, magari, tutto le risulterà più facile". Così Qualcuno, nel giorno solenne del suo insediamento nella capitale lettone sazia ed elegantemente vestita, con nitida

¹² Riferimento alla favola di Fedro "La rana e il bue".

malinconia rammentava in cuor suo i gentili straccioni che non possedevano, invero, un paio di scarpe lettoni, e che avevano sostituito queste scarpe – *horribile dictu* – con degli occhi meravigliosi, lucidi e soggetti alla censura lettone.

E chissà perché a Qualcuno venne in mente una piccola cittadina, Karačev¹³, dove aveva trascorso il giugno e il luglio del '19. Attorno regnava il tifo; la polvere si librava per le strade; in grande abbondanza brillavano sotto i piedi schegge di vetro; si appressava Denikin¹⁴; avevano evacuato tutto il meridione; attraverso Karačev¹⁵ precipitosamente sfilavano gli enti evacuati; e tuttavia: la vita ribolliva; manifesti, riunioni, comizi (sia dei comunisti sia degli anarchici); in fretta si organizzavano circoli; e si metteva insieme una bellissima biblioteca; nella sezione "MUZO" del Narkompros veniva insegnata l'euritmia¹⁶ a ragazzi vivaci e consapevoli; e sotto le note di Chopin e Schumann si sviluppava la cultura del movimento. Se ricordo bene: in quell'estate a Qualcuno sorse un dubbio: si trovava davvero in provincia? Possibile che in provincia scomparisse la "provincia"? Qui invece, nella capitale lettone, in mezzo ad abitazioni pulite, belle e silenziose, si era insediata la cieca noia provinciale; e il pensiero che avrebbe dovuto starci una settimana lo opprimeva; non faceva che ripetersi: "Che noia, questa Riga!" .

E a Riga a quel tempo non amavano la Russia Sovietica; e a Riga a quel tempo non amavano la Germania; tutto quello che compariva davanti agli occhi di Qualcuno, tutto era: Russia di ieri, Germania di ieri, ricoperta alla svelta dalla patina d'ocra della grandezza lettone; così Qualcuno vedeva: vagoni dipinti alla svelta, tolti alla Russia Sovietica; e scrostate chiese luterane tedesche (con l'autentica Lettonia, la Lettonia degli artisti, avrebbe fatto conoscenza in seguito, non a Riga: ma a Berlino!).

¹³ Città della Russia europea sud-occidentale.

¹⁴ Anton I. Denikin (1872-1947), generale russo, durante la guerra civile uno dei principali leader dell'Armata Bianca.

¹⁵ Nel maggio 1919 Belyj, insieme a Klavdija Nikolaevna Vasil'eva – sua futura seconda moglie – si recò a Karačev; i due fecero poi ritorno a Mosca nell'agosto dello stesso anno.

¹⁶ Arte del movimento creata da Rudolf Steiner, da non confondersi né con la danza né con la ginnastica. Fa parte delle discipline insegnate nelle scuole steineriane.

Tutto il primo giorno del suo felice trasferimento nel felice “estero” fu tinto di una nostalgia acutissima per la Russia Sovietica; e Qualcuno improvvisamente si accorse di essersi messo del tutto inconsapevolmente a fischiare una canzone russa dell’epoca:

E come un sol uomo morremo
Lottando per questo!

E allora si zitti: per una cosa del genere, per il fatto che fischiati, puoi finire ancora nei guai!

E con gioia Qualcuno si mise a pensare che voleva riposarsi; tornato nell’umido buco denominato “stanza d’albergo”, per il quale chiedevano così tanto al giorno e di cui non era entusiasta, malgrado non avesse nessuna pretesa, tornato nel “buco” non pensava ad altro che a riposarsi; chiese di accendere il fuoco; e avrebbe voluto stendere sul divano le gambe stanche, ma improvvisamente: battono alla porta... “Che c’è?”. “Favorisca all’ufficio del comando militare”. “Per quale motivo?”. “Il motivo glielo chiariranno lì”. Non c’era niente da fare! L’ufficio del comando militare risultò essere lì vicino. Un magnifico ufficiale, che parlava il russo magnificamente, visionò i documenti con attenzione; e, gettando uno sguardo adirato sulla copertina color sangue del passaporto sovietico, annunciò: “Lei non ha il diritto di pernottare a Riga: ha appena un visto di passaggio; non le restano che due ore fino alla partenza del treno”. E Qualcuno, tornato in albergo, iniziò a fare le valigie. Il padrone dell’albergo bussò ripetutamente, ricordandogli che era giunto il termine e che era ora di andarsene: un agente di polizia si era presentato all’entrata dell’albergo e già lo attendeva; e Qualcuno, afferrate le valigie, si incamminò imprecando a voce alta, accompagnato dalla maestosa e sprezzante occhiata del maître d’hotel privo d’occhi e dalla compassione autentica dell’addetto alle camere che aveva trascinato fuori le sue valigie; l’addetto disse: “E questo lo definiscono un Paese democratico!”.

Uscito dall'albergo Qualcuno vide un quadro grandioso, che tirava davvero su lo spirito: un magnifico poliziotto lettone armato dalla testa ai piedi, custode della soglia dietro la quale aveva tentato di abitare Qualcuno; Qualcuno gli si scagliò contro con cattiveria: "E' così che a Riga si accolgono gli scrittori sovietici?". E figuratevi: la magnifica creatura non fulminò Qualcuno con uno sguardo altero, ma umilmente puntò gli occhi sui propri stivali laccati, abbassando su di essi con aria di vergogna il proprio naso, che diceva eloquentemente: "Non sono io a farlo, ma loro!". E allora tutto divenne chiaro: "loro" sono i cittadini senz'occhi di Riga; le tristi riflessioni di Qualcuno circa le bombette azzimate che erano loro toccate al posto dei volti erano i veri motivi della sua cacciata da Riga.

E Qualcuno a testa alta se ne andò alla stazione: prese posto in uno scompartimento; e si allontanò di gran carriera dal confine del grande stato lettone in direzione della Lituania¹⁷, dove si trasformò subito da Qualcuno in rispettabile Qualcuno-vas¹⁸: tutti i lituani si chiamano in "as" e "is": Ivanovas, Petrovas, Semenovas: Qualcuno, diventato Qualcuno-vas, venne turbato dal proprio caso dativo, che l'aveva trasformato in un "Qualcuno-vui". Ivanui Ivanovičui Ivanovui – parecchio pesante, riconoscelo! Così inserì la propria "ui" nella richiesta di soggiorno nella famosa città di Kovno¹⁹ fino a quando avesse ottenuto il permesso di entrare in Germania: questa "ui" lo accompagnò nei suoi giorni kovienzi; e lo turbavano gli sporchissimi appartamenti della città di Kovno (denominazione delle vie).²⁰

I lituani gli si rivolgevano in modo assai simpatico; i magnifici gendarmi non gli si avvicinavano; ma i primi giorni si fecero sentire gli effetti di una cosa spiacevole: senza parlare di una camera, era impossibile trovare perfino un

¹⁷ La Lituania, originariamente parte del Regno di Polonia, alla spartizione di quest'ultima (1795) venne divisa tra Russia e Prussia. Nel 1922 divenne una Repubblica indipendente, ma nel 1940 perse l'indipendenza e fu inglobata nell'Urss.

¹⁸ I cognomi tipici lituani terminano generalmente in *as* o *is*.

¹⁹ Odierna Kaunas.

²⁰ Il termine utilizzato qui da Belyj è *butas*, che in lituano significa appunto "appartamento", non "via"; la frase resta di interpretazione incerta.

semplice angolo dove appoggiare la testa! La prima notte lo sorprese nella sudicia mensa di una bettola; lì gli avevano approntato qualcosa di simile a un letto, insieme a una schiera di altri infelici come lui: “Pensi”, gli avevano spiegato dei lituani, “in fin dei conti tutta Kovno è pensata per un massimo di trentacinquemila persone: ma ora qui ne soggiorneranno come minimo duecentomila”... Fin dal primo giorno a Kovno gli si presentarono davanti dei conoscenti: moscoviti, pietroburchesi: uno, dieci, venti; e ancora... Tutti erano capitati a Kovno! Tutti erano diventati “optanti”²¹. Veniva da credere: dall’istante della genesi dello stato lituano alcuni veri russi (nativi di Mosca e Leningrado) si erano resi conto di essere sudditi lituani.

In Lituania Qualcuno scoprì inaspettatamente che anche Kant era lituano²², e che lo Stato aveva indetto un premio a chi avesse dimostrato con dati tangibili la sua origine; e iniziò a supporre: magari lo stesso grande Copernico non era affatto polacco, ma lituano (come Mickiewicz²³); e da ciò emergeva la nebulosa prospettiva di chiarire un giorno che Chopin non era Chopin, ma Chopinas (lituano), al pari di Ivan Ivanovič, borghesuccio pietroburchese, che era diventato a Kovno un navigato lituano: “Pensate: Ivanas Ivanovičas!”. Siccome però questo non si poteva dire dell’illustre Puškin (l’origine negra di quest’ultimo lo tagliava fuori dalla Lituania), allora anche via Puškin a Kovno era scomparsa dalla faccia della terra; nel famoso teatro della capitale (un edificio antico, di legno, che poteva contenere sulle duecento persone), sul sipario stava uno striscione (era, probabilmente, l’immagine ritagliata di una persona della scena russa; stava lì, per qualche tempo, fino a che non avesse presentato la supplica ai provenienti dal regno delle tenebre per ottenere la cittadinanza lituana); quello striscione turbava l’autocoscienza di Qualcuno-vas alla rappresentazione di una “Hedda Gabler” che era passata alla parlata antico lituana e aveva portato via con sé

²¹ In russo “optant”: persona che può scegliere una tra due nazionalità.

²² Immanuel Kant era nato a Königsberg (odierna Kaliningrad), città della Prussia Orientale; quest’ultima si estendeva nei territori oggi occupati da Russia, Polonia e Lituania.

²³ Adam Mickiewicz (1798-1855), poeta e scrittore polacco, insegnò dal 1819 al 1823 a Kovno.

l'opera di Henrik Ibsen nel profondo della fonetica sanscrita (come è noto: ai giorni nostri nella parlata lituana è vivo il sanscrito).

E proprio come questi striscioni, o più precisamente come delle fodere, erano le altre personalità lituane che aveva conosciuto Qualcuno-vas: aveva incontrato dei lituani, degli "as" o "is", ma questo era solo una fodera; e sotto stavano nascosti dei "senza-as": Ivanov, Petrov, Solov'ev: di Mosca, Leningrado, Saratov; così la permanenza a Kovno per Qualcuno-vas-Qualcuno risultò essere un seminario pratico sullo studio delle "Metamorfosi" di Ovidio.

Qualcuno-vas fu invitato a una serata di scrittori lituani, organizzata dall'Associazione delle personalità artistiche lituane, capeggiate dallo scrittore Kirša²⁴ e dal poeta Gira²⁵ (dopotutto: per volere del destino i veri lituani si ritrovano ad avere nomi privi della terminazione autenticamente lituana); durante la serata fecero a Qualcuno-vas un discorso di benvenuto che egli non capì, non essendo iniziato al mistero del discorso; mentre ascoltava il cortese discorso, Qualcuno-vas si mise a pensare: "Accidenti, chi mi dice che non mi stanno coprendo d'improperi? Siedi, sorridi a un presumibile messaggio di saluto; ma non si sa quale sia il contenuto del discorso che magari è anch'esso una toppa". Ma non c'era niente da fare: non si può pretendere che i lituani sappiano il russo... Quale non fu la meraviglia di Qualcuno-vas quando, dopo abbondanti antipasti e bevande alcoliche, dal discorso russo venne tolto l'involucro lituano; si passò al russo, che si diffuse tra i commensali; le "as" e le "is" si volatilizzarono; avvenne una metamorfosi ovidiana; si rivelarono tutte persone conosciute quelle che si misero a cantare in coro delle canzoni russe; e venne fuori che uno era un ex studente di Leningrado, un'altra una studentessa moscovita che era stata alle lezioni di Qualcuno-vas.

²⁴ Faustas Kirša (1891-1964), scrittore lituano, compì gli studi a Kovno e a Mosca, nonché a Berlino tra il '21 e il '26. Nel '44 emigrò in Germania e nel '49 si trasferì negli USA, dove morì.

²⁵ Liudas Gira (1884-1946), poeta lituano molto attivo nella vita politica e culturale del Paese, sostenitore dell'URSS.

Le personalità artistiche lituane si rivelarono persone di una certa levatura culturale: quello era un rappresentante della tendenza populista; questo aveva un'inclinazione al dadaismo, all'espressionismo, e trapiantava nella lingua lituana l'ultima parola della poesia tedesca; a Qualcuno-vas resta particolarmente vivo nella memoria Binkis²⁶, poeta e pensatore che con talento viveva la contemporaneità ed era conscio dell'enormità dell'epoca, come della crisi della vita intera; gli si impresso nella mente il venerando Tumas²⁷, oppositore di sinistra rispetto alla linea di comportamento del governo.

Offrirono a Qualcuno-vas di rimanere in Lituania e di elaborare lo schema di una scuola di metricologia, su modello della scuola letteraria moscovita del Proletkul't; ma Qualcuno-vas anelava a raggiungere Berlino. Ad ogni modo, passò a Kovno un mese estenuante, trattenuto dai tedeschi che vi avevano allestito un posto di blocco per un migliaio di ebrei e russi: per settimane, mesi, mezzi anni attendevano l'attimo benedetto: passare in Germania; il consolato tedesco si comportò assai cortesemente con Qualcuno-vas; il suo nome letterario era noto ai tedeschi; gli parlavano in russo; e perfino: lo invitavano a bere una tazza di tè; e perfino: i rappresentanti del potere tedesco frequentavano le sue lezioni pubbliche a Kovno, facevano una capatina nella stanza dei conferenzieri per fargli i complimenti; ma lasciarlo andare, quello no; l'agognato visto di transito per la Germania rimaneva sospeso nell'aria nebbiosa; da Berlino era arrivato il permesso del Polizei-Präsidium: invano; al consolato gli spiegarono che era necessario ancora il visto dall'Auswärtiges-Amt; e questo visto arrivò; e di nuovo sorsero delle difficoltà; queste difficoltà spuntavano come funghi non nella lontana Berlino, ma qui, nelle gradevoli, minuscole stanze del consolato tedesco di Kovno, dove dei giovani intellettuali così lindi e puliti intraprendevano con

²⁶ Kazys Binkis (1893 – 1942), poeta e giornalista lituano, influenzato dal modernismo e dal futurismo, scrisse sotto vari pseudonimi poemi satirici, feuilletons e poesie per bambini.

²⁷ Juozas Tumas (1869-1933), considerato uno dei più importanti scrittori lituani dell'epoca, fu tra i fondatori del Partito del Progresso Nazionale e rappresentante del Partito Democratico Cristiano Lituano.

Qualcuno-vas discorsi su Dostoevskij, Rilke e il conte Keyserling²⁸, invece di quelli noiosissimi e prosaici sul visto.

E Qualcuno-vas, scoraggiato, usciva da quell'ambiente confortevole e camminava nell'atmosfera grigio-pallida delle case di Kovno bagnate dalla pioggerellina; e finiva sempre, da qualunque direzione partisse, in quella Laisvés aleja (o Viale della Libertà) dove da ogni direzione confluivano in massa, alla sera, migliaia di emigrati, di optanti, di mezzi optanti ed ebrei, lituani e russi; l'intera Kovno era una Laisvés aleja. Se ti volti a destra, un sobborgo; a sinistra: trovi un altro sobborgo; ti distrai un istante, e in un attimo ti ritrovi in mezzo a colline deserte, autunnali, dove non c'è Kovno, dove volano le taccole e ululano le ampie distese; sì, a Kovno c'è solo una via: la Laisvés aleja; e sulla Laisvés aleja domina il caffè polacco Perkovskij, disposto a corridoio e chiamato con ironia amara "il corridoio": quel corridoio polacco malinconico che tanti avevano percorso e che toccava ancora percorrere a tutti quelli che si riunivano nel "corridoio" Perkovskij; era il luogo di chi languiva in attesa di raggiungere la Germania: per settimane, per mesi; era un Purgatorio in cui si cancellavano dall'animo i peccati delle vite di ciascuno di loro nella Russia Sovietica; prima di arrivare qui, sei un terribile bolscevico; oltre il corridoio inizi chiaramente a diventare bianco; il "corridoio polacco" è il passaggio in un altro mondo: il mondo europeo; e tra noi che speravamo di poter andare in Germania brulicavano voci: nel "corridoio polacco" i polacchi ti fanno scendere e tornare indietro; e nel "corridoio polacco" piombano i vagoni; così, i pensieri sul "corridoio polacco" rattristavano l'autocoscienza di Qualcuno-vas nel corridoio polacco Perkovskij; lì, al suo tavolino, sempre più numerosi – come una valanga – si aggiungevano altri come lui; ne aveva ascoltati tanti, qui, di sfoghi e di lamentele contro Kovno da coloro che attendevano di muoversi alla volta della Germania; e in seguito quanti ne incontrò di nuovo Qualcuno-vas: ormai a Berlino, nella Kurfürstendamm, nella Tauentzienstraße e in Motzstraße: "Ah,

²⁸ Hermann Graf Keyserling (1880-1946), filosofo e naturalista estone, naturalizzato tedesco.

salve...si ricorda?”- “Non mi riconosce: ci siamo incontrati a Kovno, nel caffè Perkovskij...”, e si parava davanti il quadro dei tristi giorni e delle tristi settimane passati nell’incertezza, seduti da Perkovskij. E sempre si aggiungeva: “Era un periodo triste”. Sì, Qualcuno-vas aveva vissuto un periodo triste a Kovno; la Germania: la Germania arretrava sprofondando nella nebbia dell’incertezza, o nel calamaio del console tedesco a Kovno; da questo calamaio dopotutto sarebbe dovuto scaturire un tratto di penna sulla carta, che avrebbe aperto le porte per la Germania. Così, nell’anticamera d’Europa già ci si sentiva tirare indietro nella Russia Sovietica. E l’indignazione cresceva: non appena mostravi il “passaporto rosso” all’impiegato del consolato, subito notavi che il naso gli si storciva in uno spasmo appena visibile, quasi dovesse reprimere un intollerabile pizzicorio da raffreddore; era come se dal passaporto soffiasse verso il naso quello spiffero che genera il raffreddore; e i polacchi, nel loro “corridoio”, temevano terribilmente gli spifferi, o “vento dell’oriente”: per questo piombavano i vagoni lituani.

Così Qualcuno-vas aveva deciso per tempo di scegliersi un altro percorso per arrivare a Berlino: attraverso Königsberg, Swinemünde²⁹ e Stettino.

Prima della partenza per la Germania aveva preventivamente visitato il Museo Nazionale lituano, ovvero una stanzetta di alcuni metri quadri che colpiva per le pareti nude e l’assenza di mobilia; in un angolo della stanza aveva visto, se ricordo bene, un paio di croci lituane e alcuni ricami, e in un altro angolo un mucchietto di quadri di Čiurlionis³⁰ accostati l’uno all’altro; Qualcuno-vas aveva pensato che, forse, le antichità nazionali lituane erano rappresentate con maggiore abbondanza negli appartamenti nobiliari di Mosca e Leningrado da spade incrociate, scudi ed elmetti, che mancavano invece nel Museo Nazionale della capitale lituana; segnalando a Qualcuno-vas i preziosi oggetti esposti, le

²⁹ Swinemünde: attuale Świnovjście. Città e porto del Mar Baltico, parte dell’Impero Tedesco dal 1871. Venne bombardata pesantemente dall’USAAF nel ’45 e dopo la fine della guerra passò sotto l’amministrazione polacca.

³⁰ M.K.Čiurlionis (1875-1911), pittore e musicista lituano, esempio di sinesteta suono-colore.

persone che lo accompagnavano dissero che prima o poi tutto questo sarebbe stato appeso e sistemato qui, in questa stanza, e Qualcuno-vas pensò: “Perché non appendere, in quei due-tre minuti liberi che abbiamo, tutti questi tesori, e non rendere in tal modo più vicino il momento solenne della festa nazionale in cui avverrà l’apertura del Museo della Cultura lituano?”.

Ma chissà perché Qualcuno-vas non esternò i propri pensieri.

Presto lasciò la Lituania: aveva ormai perso la speranza di lasciarla per la Germania (e si era risolto a lasciarla per la Russia Sovietica), quando al consolato gli avevano dichiarato categoricamente che entrambi i suoi visti (dall’Auswärtiges-Amt e dal Polizei-Präsidium di Berlino) non avevano alcun valore finché un qualche autorevole cittadino lituano non avesse garantito che Qualcuno-vas sarebbe tornato in Lituania esattamente dopo due mesi; poiché Qualcuno-vas non aveva intenzione di adempiere a questa cosa, allora, abbassato tristemente il naso, si era allontanato dal consolato; e il consolato gli aveva fatto sapere ufficiosamente che la richiesta che gli avevano fatto era ineludibile. Iniziò un graziosissimo gioco a mosca cieca, quando Qualcuno-vas si presentò per ricevere il visto al consolato tedesco, dove tutti sapevano che sarebbe partito per Berlino per rimanerci a lungo; ad ogni modo Qualcuno-vas fu interrogato da un impiegato dall’aspetto assai severo, che però aveva chiuso un occhio: “E così farà ritorno a Kovno tra due mesi?”. E Qualcuno-vas, fissando l’occhio chiuso dell’impiegato, rispose: “Tornerò presto a Kovno”. E da quel momento al consolato per quasi due anni continuò, con ogni probabilità, un gioco: il gioco a mosca cieca; l’impiegato da Kovno gridava: “Ma dov’è Qualcuno-vas?”. E Qualcuno-vas dalla Victoria-Luise-Straße berlinese rispondeva all’impiegato di Kovno : “Ehi, sono qui, a Kovno!”. E magari anche ora questo impiegato chiederà, da Kovno: “Ah, dove sei, Qualcuno-vas?”. E Qualcuno-vas, ormai a Mosca, gli risponderà: “Ohè, a Kovno!”.

Dopo questo invito a giocare, a Qualcuno-vas venne fornito il visto; così Qualcuno-vas tornò Qualcuno, ovvero la “as” (appartenenza alla Lituania) e il

leidimas, o permesso di soggiorno, vennero meno non appena a Pillau³¹ mise piede a bordo del piroscafo che lo portava da Königsberg a Stettino; in questa città era avvenuta quella metamorfosi della personalità abituale per i lituani: Kant da lituano era diventato tedesco; anche Chopinas, probabilmente, proprio in quell'istante era diventato di nuovo Chopin; sì, in Germania le cose tornano per tutti al proprio posto; sia Čajkovskij, amato in Germania, sia Dostoevskij, letto da tutti, sono ritenuti non tedeschi, ma personalità artistiche veramente russe.

Il piccolo piroscafo che lo portava a Stettino ridesta nei ricordi di Qualcuno dei giovani piacevolissimi, appartenenti alla cosiddetta “grüne Polizei”, o polizia socialdemocratica della Prussia (a quel tempo il capo della Polizia di Berlino era un socialista indipendente); dei giovani, piacevoli poliziotti che sul piroscafo si comportavano con autentica indipendenza, dandosi alle seduzioni di Bacco e in parte ad Afrodite; inghiottivano enormi quantità di grappa e si stringevano alle giovani rappresentanti dell'amministrazione, appoggiate alle piccole cabine; giovani e verdi poliziotti democratici apparvero alle spalle di Qualcuno al buffet e, vedendolo divorare con soddisfazione dei panini, gli si fecero incontro indicandolo, e si misero bonariamente a urlare: “Der russische Fresser!”, che tradotto letteralmente suona: “Ah, ecco un ministro russo del culto!” (“fressen”= “divorare”).³²

Così in Germania Qualcuno divenne inaspettatamente un ministro del culto, non nel significato sacro ma in quello relativo al cibo; e Qualcuno si stupì assai del fatto che il pranzo di un poliziotto è probabilmente pari ad appena mezzo paninetto, poiché due panini interi sono un lusso, e trasformano magicamente un borghesuccio russo in un ministro del culto, e il suo atto in un culto del cibo.

Ancora lo colpì un fatto: le inservienti delle cabine, tutte eleganti e civettuole, quando assegnavano le camere a spensierati e agiati abitanti di Königsberg, si

³¹ Attualmente il sobborgo di Pillau è il porto principale nella enclave russa, stretta tra Lituania e Polonia, un tempo denominata Prussia Orientale, che ha in Kaliningrad (l'antica Königsberg) il suo centro.

³² Gioco di parole tra *žrec* (sacerdote) e *žrat'* (divorare).

mettevano d'accordo con loro su qualcosa; e perfino pareva: questo patto consisteva nel fatto che le giovani creature civettuole si chiudevano – chissà perché – per un po' di tempo nelle cabine con gli allegri giovani di Königsberg, che facevano questo tipo di ordinazione con lo stesso piglio indipendente col quale ordinano, al tavolo del solito ristorante, "schnitzel alla paprika". Qualcuno ebbe la considerevole imprudenza di riservarsi, come facevano in molti, una cabina (e solo quella!) per la notte. Immaginate il suo stupore: di sera la porta della cabina si aprì; e apparve una ragazza, assai preoccupata del fatto che Qualcuno, prenotatosi una cabina, non volesse alcun supplemento; saputo che Qualcuno era soddisfatto della propria solitudine, questa ragazza lo misurò con un'occhiata perplessa, come a dire: "Ma sarai strampalato?! A che ti serve allora una cabina? Mica per annoiartici da solo?".

Così, ancora prima di arrivarvi, Berlino apparve a Qualcuno sotto forma di un verde poliziotto spensierato, sazio con mezzo panino, e sotto forma di una rosea signorina, che svolgeva tra le cabine servizio di polizia. Queste prime impressioni della Germania si rivelarono un'introduzione ai due anni di vita berlinese.

Di come si sta bene a Berlino

Dalla stazione Qualcuno finì in quella parte di Berlino che i russi chiamano Pietroburgo e i tedeschi Charlottengrad³³. Qui, nei cabaret più disparati, impresari russi mettono in scena la *kamarinskaja*³⁴, accompagnata da ritornelli di “danke schön, bitte sehr” che un equivoco “contadino da kamarinskaja”³⁵ rivolge ai presenti; il ritornello significa probabilmente “grazie, non me l’aspettavo”; qui i tedeschi intonano delle canzoni proprio nazionali! *Sonja, Natascha* e *Annuschka*. Nella prima, che amano particolarmente, c’è il ritornello:

Sonja, Sonja- deine schwarze Haaren
Küsse ich im Traume tausend Mal...
Kann dich nicht vergessen, wunderbahre
Blume aus der Wolga Thal.

Si apre con la strofetta:

Endlos, endlos dehnen sich die Steppen.

Nella seconda viene nuovamente ricordato il Volga, il che, tradotto correttamente nella lingua di Charlottengrad, sta a indicare: “non il Volga, ma il Reno”.

Nella terza, nella *blonde Annuschka*, compare di continuo un certo *Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart*. Questo *Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart*, evidentemente, è un vero abitante di Charlottengrad: vaga distrattamente per la Kurfürstendamm, mentre Annuschka, divenuta sua moglie, esegue le sue mansioni quotidiane in un caffè russo-tedesco – ce ne sono così tanti! – e vende

³³ Charlottenburg, ribattezzata Charlottengrad per l’elevata presenza di russi.

³⁴ Canto e danza popolare russi.

³⁵ Riferimento alla prima strofa di *Pesn’ o kamarinskom mužike*, componimento di L.N. Trefolev (1839-1905) divenuto in seguito, grazie alla sua musicalità e alla semplicità della lingua, una canzone popolare.

un gustosissimo *kulebjaka*³⁶ alle rispettabili famiglie tedesche che glielo ordinano.

In questa zona di Berlino trovate tutti quelli che per anni non avete incontrato, per non parlare dei vostri conoscenti; qui Qualcuno ha incontrato tutta la Mosca e tutta la Piter³⁷ di un passato non lontano, la Parigi dei russi, Praga, perfino Sofia e Belgrado; mi pare proprio, caro lettore, di aver incontrato anche lei in questo focolaio di autentica cultura russa di ieri; ho incontrato persone delle quali nel giro di una ventina d'anni si erano perse notizie. È un luogo sacro, dove i morti sorgono dalle bare per passeggiare lungo la Kurfürstendamm inondata d'elettricità! Quando, caro lettore, agli occhi dei vivi noi saremo morti, allora mi creda: risorgeremo dal mondo dei morti in un caffè della Kurfürstendamm. Vi sono stato spesso; e più di una volta ho trasformato il famoso verso di Puškin indirizzato a Küchelbecker: "E tutto mi divenne küchelbeckerico e noioso" in "kurfürstendammico e penoso".³⁸ Ma di questo parlerò in seguito.

A Charlottengrad Qualcuno incontrò un conoscente che aveva fatto la rivoluzione del '18, un collaboratore del giornale *Novyj mir*; il conoscente lo ospitò cortesemente per i primi giorni; la prima notte parlarono della Russia Sovietica; e Qualcuno raccontò dello spirito della vita nella Russia Sovietica; ma inaspettatamente il conoscente disse: "Parli più piano: qui le pareti sono sottili, e nella stanza attigua dorme Iosif Vladimirovič Gessen³⁹ in persona; e magari avvicina l'orecchio alla parete". Si poté constatare la presenza del redattore de //

³⁶ Pasticcio ripieno.

³⁷ Pietroburgo.

³⁸ Riferimento a due versi di un epigramma (1817-1819) di Puškin ["*Tak bylo mne, moi druž'ja, /i kjuchel'bekerno, i toshno*"], che Belyj riporta non correttamente [*Il stalo mne- i kjuchel'bekerno i skučno*]. L'epigramma è dedicato a Wilhelm Küchelbecker (1797-1846), poeta e decabrista russo che divenne amico di Puškin a Carskoe Selo. Proprio a causa di questo epigramma, Küchelbecker nel 1818 sfidò a duello Puškin, ma in seguito i due si riappacificarono.

³⁹ Iosif Vladimirovič Gessen (1866-1943), pubblicista russo; uno dei fondatori (1905) e leader del partito dei Cadetti. Dopo la rivoluzione emigrò e nel 1920 fondò a Berlino il giornale "bianco" *Ru'* (Il timone).

Timone proprio il giorno seguente, a un *table d'hôte*; i tre discussero sulla Russia Sovietica; e difesero i rispettivi punti di vista stando nei limiti della correttezza; questo non impedì al *Timone* di iniziare repentinamente (quando gli interlocutori si stavano separando fuori dalla pensione) un attacco contro la *Vol'no-filosofskaja asociacija*⁴⁰, che era stata istituita con il contributo di Qualcuno: l'associazione era sospettata di bolscevismo; perfino il conoscente di Qualcuno, con il quale il redattore de *Il Timone* aveva discusso molto tranquillamente, per poco non venne definito da quello stesso *Timone* "agente bolscevico".

Così, i paradossi della realtà di Charlottengrad fecero girare la testa di Qualcuno già il primo giorno del suo arrivo a Berlino.

Si stabilì in Passauerstraße, quasi all'angolo con Wittenbergplatz, di fronte al famoso Ka-De-We (Kaufhaus des Westens)⁴¹, nelle cui vetrine sprizzano gradazioni di sete delicate, disposte dalle mani di arredatori-artisti (dall'azzurro al limone, dall'arancio vivace a un lilla incerto), e dove delle vezzose bellezze di cera mettono in mostra le loro *toilettes*; le porte girevoli del luccicante Ka-De-We fanno entrare da mattina a sera una folla di bellimbusti tutti tirati a lucido, raffinati, che vengono portati su e giù per tutti e quattro gli enormi piani da un ascensore diligentissimo; eleganti commesse e commessi espongono la merce davanti a loro; non vi accorgete subito che tra tutte le nazionalità qui riunite – polacchi, cecoslovacchi, cinesi, giapponesi e russi – ne manca solo una: la tedesca; quest'ultima preferisce i negozi lontani ed economici che attorniano Alexanderplatz e Stettiner Bahnhof; il *Kadeve* non è per le tasche dei tedeschi; nemmeno Charlottengrad, si scopre in seguito, è per le loro tasche: è per eccellenza dei russi.

⁴⁰ *Vol'naja filosofskaja asociacija* (Associazione filosofica libera). Sviluppata a Pietrogrado (Leningrado) tra il '19 e il '24 su iniziativa di Belyj e Ivanov-Razumnik, era composta da intellettuali convinti della necessità di una rivoluzione anche sul piano spirituale, oltre che su quello politico.

⁴¹ Grande magazzino di Berlino, costruito nel 1905 da Adolf Jandorf nell'allora autonoma città di Charlottenburg, che divenne parte di Berlino solo nel 1920. È il più esteso grande magazzino dell'Europa continentale.

Nella Wittenbergplatz la *Untergrund*⁴² sputa fuori mucchi di persone che si affrettano per la rosa delle vie che vi affluiscono, e ingoia altrettanti mucchi; qui, di sera, brillano abbaglianti le luminarie di vari caffè; qui, nel russo *Medved*, prestano servizio dei *kellner*-ufficiali (di famiglie nobiliari russe); e nel caffè *Ruscho* una miriade di russi di Łódź specula senza sosta: c'è il mercato nero. Qui è in funzione un *Nacht-Local*, dove – in costume evitico – ballano le infelici impiegate di un negozio; nelle vicinanze dell'angolo tra la Kleiststraße e la Lutherstraße echeggia malinconicamente il solito "Komm"... e al mattino c'è il mercato.

La vita nella Wittenbergplatz è turbata solo di tanto in tanto: da una retata di poliziotti al mercato nero; ed è turbata ancora più raramente da una manifestazione di comunisti; si alzano rosse bandiere; e incedono: nell'abisso scoperto dei quartieri.

Ha dunque inizio la Kuzneckij Most⁴³ di Charlottengrad: chiedo scusa: Tauentzienstraße, centro dei *parties de plaisir* russi per Berlino; quella Tauentzienstraße che cantano gli artisti di varietà in tutti i cabaret di Charlottengrad e degli stabilimenti balneari estivi:

Nacht! Tauentzien! Kokain!
Das ist Berlin!

E il pubblico borghese ride sguaiatamente: tutto il mondo è a conoscenza di "Nacht", "Kokain" e "Tauentzien". Chi non incontrate qui! Un avvocato d'ufficio di Mosca, un critico letterario della Pietrogrado di ieri, il generale Krasnov, l'ex ministro "contadino" Černov⁴⁴ che agita allegramente la grigia criniera di capelli;

⁴² Ferrovia sotterranea (*N.d.A.*).

⁴³ Una delle vie principali di Mosca.

⁴⁴ Viktor Michajlovič Černov (1873 - 1952), uno dei fondatori del partito socialrivoluzionario. Nel 1917 ebbe la carica di ministro dell'agricoltura del governo temporaneo, e nel '18 venne eletto presidente dell'assemblea costituente. Emigrò nel 1920.

qui – ancora non è molto – il curvo Martov⁴⁵ camminava avanti e indietro con aria afflitta; qui, stando all'espressione precisa di Viktor Šklovskij, di giorno girano – immancabilmente in coppia – dei professori russi dalla barba canuta e d'aspetto malinconico e distratto, con le mani dietro la schiena⁴⁶: e quelli che sono arrivati qui in congedo dall'Università di Praga: l'Università degli intellettuali emigrati; tutti, qui si incontrano tutti! Ma quelli che arrivano dalla Russia fanno principalmente scorta di scarpe, guanti, berretti e ombrelli; appaiono qui indossando degli assurdi berretti di astracan e delle logore pellicce sovietiche, per andarsene poi vestiti da europei, o per fare un salto al caffè Tauentzien al tè danzante delle cinque con degli abiti nuovi di zecca. Qui è anche possibile procurarsi i biglietti del traghetto per Leningrado:

Qui c'è anima russa: qui si respira la Rus'!...⁴⁷

E ci si stupisce, sentendo di tanto in tanto parlare in tedesco: come? Dei tedeschi? Cosa vogliono nella "nostra" città?

La Tauentzienstraße è una via ampia; nel mezzo sfrecciano precipitosamente tram, autobus e automobili; davanti ai grandi magazzini si sono sistemati, in file, dei poveri senza gambe e senza braccia; sono invalidi della campagna del '14-'18, molto spesso decorati con la croce di ferro o con l'ordine tedesco di San Giorgio; protendono i loro moncherini ai passanti, prevalentemente russi, la cui parlata si colora di neologismi del genere di "abgemacht" e "abgeschlossen"; lì la via fa da

⁴⁵ L. Martov, pseudonimo di Julij Osipovič Cederbaum (1873-1923), dal 1903 uno dei leader menscevichi della cui ala sinistra divenne nel '17 il capo. Critico verso la politica interna bolscevica, emigrò nel 1920.

⁴⁶ Riferimento alla lettera diciottesima di *Zoo или письма не о любви* di Viktor Šklovskij, dove si legge "По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину."

⁴⁷ Riferimento al poema di Puškin *Ruslan e Ljudmila* (1817-1820), nel cui prologo si legge: *Tam russkij duch...tam rus'ju pachnet!...*

sostegno alla guglia dell’Ammiragliato⁴⁸; no, scusate: alla guglia della Gedächtniskirche; lì a fianco si passeggia, e ogni giorno si incontra qualcuno: da sinistra a destra cammina il filosofo Berdjaev⁴⁹; e da destra a sinistra Boris Kostantinovič Zajcev⁵⁰; ricordo, ci si chiedeva: “Ma dov’è Jakovenko⁵¹, il filosofo?”. “In Italia”. E il giorno dopo, proprio qui, alla Gedächtniskirche ti imbatti in... Jakovenko: “Come, lei? Ma se dicono che è in Italia”... “Come vede, sono qui”... “Dov’è la Petrovskaja⁵², la scrittrice?”. “A Roma”... E no, eccola alla Gedächtniskirche; qui passano di fretta: Pil’njak, Pasternak, Majakovskij. “Ma no, sono in Russia!”. Ma permettete: in Tauentzienstraße io ho visto Majakovskij.

La guglia di questa chiesa magnifica è un incrocio di tempi e spazi: il passato antidiluviano è qui intrecciato al futuro incalzante; e a Mosca si intrecciano Praga, Parigi, Sofia. Questa guglia è il punto dal quale si dipartono a raggiera le sistemazioni dei russi nella circonferenza berlinese di Charlottengrad; un raggio è la Kurfürstendamm; un altro Tauentzienstraße; un terzo Kantstraße; un quarto... e via dicendo; tra i raggi viene a formarsi un reticolo di vie grigie con case tutte uguali; non si distingue una via dall’altra, una casa dall’altra; tutti gli edifici sono monumentali, lussuosi, maestosi; ma il lusso e la grandiosità di queste case interferiscono visivamente con la tediosa noia grigio-brunastra di follia organizzata, nella quale è impossibile distinguere le vie, le singole case, gli

⁴⁸ Continua il paragone tra Charlottengrad e le zone più conosciute di Mosca e San Pietroburgo. Qui si fa riferimento al Palazzo dell’Ammiragliato, fatto costruire a San Pietroburgo tra il 1806 e il 1823 dietro progetto di A. Zacharov. È situato all’inizio della Prospettiva Nevskij, la via principale della città. La sua guglia dorata, sormontata da una bandieruola a forma di nave, è uno dei simboli di San Pietroburgo.

⁴⁹ Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev (1874-1948), filosofo russo; in quanto oppositore del comunismo, venne espulso dalla Russia bolscevica nel 1922; dopo un periodo a Berlino si trasferì con la moglie in Francia, dove rimase fino alla morte.

⁵⁰ Boris Kostantinovič Zajcev (1881-1972), scrittore e traduttore russo, fu uno degli ultimi esponenti importanti del cosiddetto “secolo d’argento” e membro del circolo letterario *Sreda*. Malato ai polmoni, ricevette il permesso di trasferirsi all’estero; da Berlino, dove era arrivato nel ’22, passò in Italia e infine in Francia, dove visse fino alla morte.

⁵¹ Boris Valentinovič Jakovenko (1884-1949), filosofo, giornalista e traduttore russo di impostazione neokantiana. Soggiornò più volte in Italia.

⁵² Nina Ivanovna Petrovskaja (1879-1928), scrittrice e traduttrice russa, ebbe tormentati rapporti sentimentali con Belyj e Brjusov; soggiornò anch’essa più volte in Italia.

abitanti di queste case; da ciò la particolare teoria berlinese della prospettiva: se per te è chiaro che devi andare a sinistra, gira senza esitare a destra; tutte le tue rappresentazioni precise della topografia cittadina sono immagini inverse della realtà; tutto è stato capovolto dal buonsenso alla follia, con tale meticolosità che questa stessa follia organizzata è l'immagine della pedanteria di un buonsenso atrofizzato, è l'immagine della quiete, della lucidità che infonde piena fiducia nei nuovi arrivati; questa è la caratteristica di Berlino; arrivandovi dalla follia manifesta della Russia Sovietica, inizialmente ti riposi nella quiete di una comprensibilità del tutto innocua; tutto è così accessibile, così sobrio, evidente, civilizzato, organizzato; e vi presti fede; ecco un signore che corre con la bombetta e una cartella sotto il braccio: dov'è diretto? Verosimilmente torna a casa dal lavoro. Ecco una signora discreta vestita con finezza: probabilmente sta andando anche lei a casa; un giovane pallido in viso, dallo sguardo languido, cammina a passo tranquillo; su una panchina una bambina d'una decina d'anni, un fiocchetto rosso tra i capelli, sta presumibilmente aspettando un'amica, per giocare con lei. Tutto è così chiaro: chiaro come il sole!

Ma poi si scopre: il signore di aspetto rispettabile, con la bombetta, non sta correndo a casa dal lavoro, ma in una sala da ballo: lì, dopo aver lanciato la cartella a un lacchè, sotto selvaggi suoni da negri si dà a un boston estenuante e si arresta in pause furiose con l'aria di adempiere un ufficio divino; sta correndo: a officiare; poi andrà a casa, a mangiare...Follia! Oppure corre al suo *Patzenhofer* di fiducia a bere solo un boccale di birra, dopo averla "tagliata" con una quantità spropositata di grappa; verso la fine del boccale inizierà a predicare non la teoria alla base del diritto statale, ma, ad esempio, le verità dei Veda: invita l'Europa a farsi India. Un giorno incontrai in una birreria un tedesco rispettabile che barcollò verso di me e stentatamente si mise a predicarmi la filosofia degli Shri Schankaracharya⁵³: era un ingegnere; lo incontrai ancora: correva molto

⁵³ Titolo attribuito ai capi dei quattro monasteri fondati da Adi Schankara; sono le più alte autorità spirituali dell'induismo.

sobriamente per strada, dando a vedere di non avermi notato; la superficie degli occhi rifletteva la solita apparenza di sobrietà; ma nelle profondità dello sguardo balenava la follia del predicatore religioso; e mi dissi: – Uhm! È pazzo anche questo! – .

Ma poi si scopre: la signora vestita con finezza, il volto abbassato con modestia, si dirige...in una casa d'appuntamenti: a darsi alla follia di oscenità perverse; il giovane che mi aveva colpito, dallo sguardo languido, "foxtrotta" (cammina a passo di fox-trot)...in un caffè di omosessuali: a Berlino ci sono, proprio alla luce del sole, alcune centinaia di caffè per omosessuali e lesbiche; e la ragazzina innocente con il fiocco rosa: orrore! Le si è avvicinato un vecchietto molto decoroso, parrebbe americano; e se ne vanno insieme, dove? Distolgo lo sguardo per non precipitarmi via e non urlare: "Oh, un cappio e una fossa per te, Sodoma borghese!".

La follia organizzata, il delirio, l'illusorietà e l'oscenità: sotto uno sguardo attento Berlino inizia lentamente a sfaldarsi; tutto è sottosopra; e tutto è fuori posto; nei ristoranti di lusso signoreggiano tamburi da negri; sotto le note del fox-trot borsaneristi selvaggi dal grosso muso, di tutti i paesi, divorano gelati all'ananas; tra loro balenano volti di giapponesi e negri; dove sono finiti i rappresentanti della recente cultura elevata, i discendenti di Goethe, Novalis, Nietzsche e Stirner?

A quel tempo amavo andare in una piccola birreria squallida e smorta che di sera si riempiva di clienti ubriachi; e mi piaceva osservare che dalla porta aperta entravano frettolosamente delle canaglie malridotte per buttare giù un ultimo cognac prima di notte; tutto qui mi pareva interessante: come uno beveva e scherzava, come lo persuadevano a non fare a botte; presto mi resi conto: tra i clienti ancora occasionali c'era un gruppo costante; iniziai a studiarlo; eccolo: c'era sempre un polacco mezzo ubriaco; una signora corpulenta e stanca; un capocameriere di un qualche ristorantino (lo incontrai poi a Swinemünde); un cecoslovacco dai baffi neri che barcollava sempre (molto spesso lo cacciavano

con la forza); un tale sciupato e grigio con le palpebre gonfie e la bombetta bucata, un uomo grassoccio che gli habitué chiamavano “herr direktor”; un tizio dal naso rosso, simpatico, dall’aria sfinita: aveva occhi azzurri chiarissimi e tristi; il portiere della casa a fianco; un poliziotto del comando che giocava a carte con il proprietario della birreria, divenuto cieco; e fräuelin Marichen, la sua carissima figlia che serviva la birra da mattina a sera. Mi pareva: i frequentatori di questa birreria, nonostante tutte le differenze di condizione sociale, occupazione ed età erano legati da un qualche mistero, in cui si intrecciavano l’uno all’altro l’herr direktor, l’uomo dall’aria sfinita, la signora stanca, il proprietario cieco e il cecoslovacco ubriaco; il mistero della birreria mi appassionava; di sera me ne andavo lì. Poi mi si svelò, questo mistero nascosto che accomunava tutti i frequentatori della birreria; non era affatto l’allegria ad averli portati qui; né il desiderio di passare le sere in modo tranquillo; erano legati l’un l’altro da una qualche tragedia personale, da un trauma molto profondo, dalla caduta in un abisso; erano tutti delle ex-persone, delle persone finite; erano tutti fratelli nella loro infelicità: si incontravano per bere insieme fino in fondo la propria vita, per frantumarsi insieme, spontaneamente; ed è da notare: non era la curiosità ad attirarmi lì, ma un trauma simile che stavo attraversando dolorosamente a quel tempo. Questo consesso si rivelò essere una confraternita di infelici creata dal destino; in seguito feci buona conoscenza con i clienti della birreria; e scoprii: l’uomo grassoccio e grigio pallido, l’herr direktor, era un degustatore raffinato de *L’unico e la sua proprietà* di Max Stirner⁵⁴; era competente (e molto) nella filosofia di Schopenhauer, di Nietzsche; una volta, venuto a sapere che amo la poesia di Eichendorff⁵⁵, d’impeto mi munì di una bibliografia esaustiva su di lui; questo grigiastro herr direktor era in cuor suo un anarchico; così una volta,

⁵⁴ Max Stirner (1806-1856), pseudonimo di Johann Kaspar Schmidt, filosofo tedesco in polemica con la sinistra hegeliana; le sue idee fecero da sostrato alle teorie anarchiche della seconda metà del XIX secolo. La sua opera più famosa è *L’unico e la sua proprietà* (1845).

⁵⁵ Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857), scrittore tedesco appartenente alla seconda fase del romanticismo. Le sue liriche, incentrate prevalentemente sui temi della comunione con la natura e del vagabondaggio, vennero anche in gran parte musicate.

quando dissi che bisognava far saltare in aria una certa personalità politica, esclamò con gioia: “Dann Kommt Bum-Bum”; e nel gergo che avevamo creato il “Bum-Bum” divenne il simbolo della distruzione del vecchio mondo; più volte facemmo esplodere la realtà della Germania contemporanea; e decretavamo: l’inevitabilità di un Ottobre tedesco nell’immediato futuro; l’*herr direktor*, un tempo educato sulle vette della cultura tradizionale tedesca, era divenuto, nei confronti di tale cultura, un uomo del passato, finito; un fenomeno di *lumpenproletariat* intellettuale della Germania contemporanea; di certo un giorno apparirà nell’ondata rivoluzionaria con una bomba assordante in mano, per fare “Bum-Bum” sull’Europa ormai spacciata.

Un altro cliente della birreria era un musicista raffinato, ammiratore di Schumann, un tempo amico del defunto Liliencron (il poeta)⁵⁶; gli divenni molto amico; e suo figlio, un giovane sui diciassette anni, era un ammiratore della Russia Sovietica; agognava la Russia Sovietica; attendeva la rivoluzione. La signora corpulenta d’aspetto stanco (dapprima la ritenni erroneamente una ex-prostituta) era una pittrice, un tempo assidua frequentatrice del cabaret “Simplicissimus” di Monaco, dove una volta mi recavo quotidianamente a incontrare Przybyszewski⁵⁷, il poeta Ludwig Scharf⁵⁸, Mühsam⁵⁹ (membro del governo sovietico-bavarese) e Wedekind⁶⁰; a quanto pare, avevo incontrato questa signora al “Simplicissimus” ancora nel 1906.

⁵⁶ Detlev von Liliencron (1844-1909), pseudonimo di Friedrich Adolf Axel, principe di Liliencron. Scrittore tedesco e ufficiale dell’esercito prussiano.

⁵⁷ Stanisław Przybyszewski (1868-1927), scrittore polacco influenzato da Nietzsche e Strindberg.

⁵⁸ Ludwig Scharf (1864-1939), poeta e traduttore tedesco, figura di spicco a Monaco; pubblicò su riviste come *Jugend*, *Pan* e *Simplicissimus*.

⁵⁹ Erich Mühsam (1878-1934), anarchico, poeta e attivista tedesco. Dopo la caduta della monarchia, si recò a Monaco dove partecipò alla rivoluzione guidata dal socialista Kurt Eisner (1918).

⁶⁰ Frank Wedekind (1864-1918), autore teatrale tedesco, giornalista e attore di cabaret; suscitò polemiche per i suoi drammi incentrati sul tema della vitalità erotica soffocata dal conformismo sociale.

Anche la figlia del padrone cieco era una natura sensibile all'arte; nei momenti liberi studiava francese, letteratura, poesia, musica; le diedi da leggere in traduzione il mio *Pietroburgo*, e non dimenticherò mai la valutazione sottile che ne diede...chi? La cameriera di una birreria da quattro soldi!

Qui, in questa modesta birreria, tra ubriachi, mezzi rinnegati e persone sospette, mi apparvero gli eredi della grande cultura del passato; dal piano nobile della civiltà berlinese erano caduti nello scantinato della vita; mentre nel piano nobile, nei caffè della Kurfürstendamm, si erano installati i "negri" della cultura, tempestati di brillanti; già, qui non si parla della poesia di Eichendorff; e le mani non si allungano ad afferrare le bombe, per provocare un fragoroso "Bum-Bum"! Qui si parla di dollari, del crollo del marco.

E tutto era "Kurfürstendammico e tedioso"; non dimenticherò mai ciò che in questi luoghi culturali equivoci diceva un menscevico, aggiustandosi una cravatta elegantissima e sorbendo uno cherry cobbler da una sottile cannuccia: "E lei continua ad andare nella sua strana birreria: non capisco. Che bisogno ha di stare in mezzo agli ubriachi in un locale da quattro soldi nero di fumo?". E allora pensai: "Caro mio, non andremo mai d'accordo: ti definisci socialdemocratico, noleggi automobili e ti sposti in aeroplano". Mentre io e l'*herr direktor*, ammiratore di Stirner, Eichendorff e Nietzsche (che probabilmente tu non leggerai mai), confabuliamo sul fatto che non sarebbe male se anche tu e la tua compagnia borghese faceste un "Bum-Bum" bello sonoro.

Sì, Berlino è ritorta da cima a fondo: e le vette della cultura raffinata risiedono nei bassifondi equivoci e lerci di una vita istupidita, folle; e vi si sputa sopra; mentre le bassezze culturali vengono sfacciatamente elevate; e siedono nei ristoranti, sfarfallano in automobile, si cospargono di diamanti.

E Berlino è come un incubo organizzato e portato sistematicamente in vita, accolto con l'ingenua formula di buonsenso comune (borghese): ma questo buonsenso è in realtà un nonsenso.

Con nessuna assurdità potrete meravigliare al giorno d'oggi il tedesco medio; in seguito pensai spesso, attraversando la Kurfürstendamm: "Che potrei fare, per stupirli?". E mi confessavo: è impossibile stupire un berlinese; se mi fossi messo, ammettiamo, a gambe all'aria, i passanti se ne sarebbero appena accorti; non si sarebbero fermati, né voltati: mi avrebbero oltrepassato correndo, pensando di sfuggita: "Dev'essere una pubblicità". Se mi fossi messo, poniamo, a urlare che "credo nel gatto grigio": nessuno si sarebbe stupito; e avrebbero pensato: "Sarà un settario; magari un dadaista". Se avessi espresso apertamente il desiderio di sdraiarmi in mezzo al marciapiede pieno di gente, avrebbero pensato: "È ubriaco". Sarebbe arrivato un poliziotto: mi avrebbero messo in un' "auto"; e, venuti a conoscenza del mio indirizzo (dal passaporto), mi avrebbero tranquillamente accompagnato a destinazione, mi avrebbero consegnato al portiere, e questo alla padrona: e mi sarei trovato nel mio morbido letto; la padrona avrebbe sorriso maliziosamente: "Getrunken, macht nichts!". Così, quanto più meditavo su come stupire un vero berlinese, tanto più diveniva chiaro: la quotidiana vita berlinese "sobria" oltrepassa i confini di qualsiasi inciviltà; secondo il metodo dei contrasti di Berlino, sotto una patina di vita "sobria" dobbiamo collocare un buonsenso rovesciato; e capire: è una vita completamente ebbra. In questa vita si incrociano nella Berlino borghese il russo e il tedesco del circondario di Charlottengrad, in un qualche caffè russo-tedesco, o in un *Diele*, dove i tedeschi bevono "Wodka" e del liquore pungente denominato "Natascha", e dove lavorano ufficiali russi; lì, di notte, si creano alleanze spontanee tra la Russia dell'emigrazione e la Germania, che si sostengono a vicenda in vista del ritorno a casa molto rischioso: sia i russi sia i tedeschi infatti sono stati ugualmente impensieriti dal grande Copernico, che mostra loro in questa ora notturna un esperimento: la rotazione della terra sotto i piedi. Un conoscente mi raccontava: "Sa, molte volte mi sono ubriacato fino a perdere indiscutibilmente coscienza: capitavo da solo in un ristorante mai visto prima, che teneva aperto di notte; e mi risvegliavo poi nel mio letto". "E come

faceva ad arrivare a casa?”. “Francamente non lo so: solo una volta ho trovato nel portamonete un elegantissimo biglietto da visita di un tenente tedesco sconosciuto che mi assicurava della sua amicizia; e mi informava che era stato proprio lui a portarmi a casa”. Passò allora a un elogio entusiastico della cultura berlinese, che risolve appieno il problema del tappeto volante: se ti dai all’incoscienza ebbra, il tappeto volante ti porta subito dove vuoi; e misteriosamente ti fa attraversare il tetto, i muri e ti lascia nel tuo letto; al mattino ti alzi: tutto è in ordine; perfino le scarpe sono state riposte.

“Sì sì, si sta bene in questa famosa Berlino”, concluse così le sue lodi smodate.

Del “negro” in Europa

Del "negro" in Europa

Quando si arriva a Berlino, si è catturati dal suo aspetto: dal marchio dell'ineleganza; lo stile delle case, il modo di vivere: tutto qui è borghese; la mesta Sieges Allee si fa notare per la sua ineleganza; e con la sua ineleganza vi colpisce la sgraziata Leipziger Straße.

Ma dove si può trovare una certa cultura? In fin dei conti la città, oltre alla propria fisionomia, ha anche un'anima: l'anima della solida cultura tedesca. E il lettore, giustamente, potrebbe chiedermi: cosa ha creato questa cultura negli anni della guerra, della rivoluzione? In breve, già sento: perché l'autore non ci parla di Spengler⁶¹, dei nuovi poeti, delle colossali conquiste della scienza tedesca?

In primo luogo: scopo di questo saggio è tratteggiare solo uno schizzo di vita cittadina, senza abbandonarsi a un'analisi delle opere artistiche e scientifiche; in secondo luogo: tutto ciò che è stato creato nell'ambito della pura cultura tedesca negli anni 1918-1923 non delinea profili nuovi e particolarmente strabilianti; ci sono molti nuovi fenomeni; ma, per così dire, ripercorrono vecchie strade; è uscita una quantità smisurata di libri di teologia; può essere che tra questi vi siano anche delle opere degne di nota, ma continuano solo vecchie tradizioni; vengono stampati anche libri di filosofia; Rickert⁶² ha messo in circolazione il primo tomo del suo *Sistema di filosofia*; ma questo volume è la continuazione dei suoi lavori precedenti; è spuntato il filosofo Max Scheler⁶³; ma questo nuovo nome non ha portato con sé alcun contenuto innovativo; il suo pensiero è impregnato dello spirito del cattolicesimo.

⁶¹ Oswald Spengler (1880 – 1936), filosofo tedesco che accolse la tesi nietzschiana sull'accidentalità del mondo, in cui dominano processi ciclici di creazione e distruzione delle varie culture. Nella sua ottica, all'epoca la civiltà occidentale aveva ormai esaurito ogni slancio vitale. Tra le sue opere, *Il tramonto dell'Occidente* (1918-22).

⁶² Heinrich Rickert (1863 – 1936), filosofo tedesco. Allievo di Windelband, esponente della scuola di Baden, intese la filosofia come analisi dell'atto conoscitivo e sistema di classificazione dei valori. Tra le sue opere, *Sistema di filosofia* (1921).

⁶³ Max Scheler (1874 – 1928), filosofo tedesco vicino alla fenomenologia husserliana.

Sono comparsi molti nuovi poeti; scrivono versi insignificanti in metro libero: ricorda la prosa. E basta. Le conquiste della scienza tedesca sono immense; ma la scienza è extranazionale; essa, per dirla come Spengler, appartiene non alla sfera della cultura ma a quella della civiltà. Invece nella sfera della cultura, di per sé, i prodotti culturali si manifestano automaticamente; ma non vi si percepisce uno sconvolgimento della coscienza. Bisogna dire: le nostre ricerche in ambito artistico sono di gran lunga più interessanti e ricche di idee delle medesime ricerche fatte in Germania; la quotidianità tedesca post-rivoluzionaria non si è ancora riflessa nelle opere recenti, poiché in Germania non esiste una quotidianità post-rivoluzionaria, ma esiste una quotidianità post-bellica; in Germania non c'è stata una rivoluzione: c'è stato un ballo in maschera sotto l'insegna di una rivoluzione; e noi, che abbiamo vissuto enormi sovvertimenti in anni non lontani, a volte troviamo semplicemente banali le opere che esprimono la contemporaneità tedesca.

Vi accorgete che spesso si dice: "Hanno poeti come Schiller, Goethe, Heine, Novalis, Rilke, George: e così via". Oppure si dice: "Hanno compositori come Beethoven, Schumann, Schubert, Wagner: e così via". O: "Filosofi come Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche: e così via". Per i "e così via" si intendono: nella schiera dei compositori, tra l'altro, Mahler e Bruckner; tra i filosofi, il giovane Fichte⁶⁴; "e così via" in questi casi significa: è sempre la stessa solfa. Tutta la cultura della Germania contemporanea è tradizionale e borghese; ma questa cultura si trova sotto il segno dei "e così via" perfino se la si rapporta a un'epoca relativamente recente. Nella corrente principale delle tendenze culturali della Germania il nuovo non è più così nuovo; il tradizionale è degenerato. Gli elementi assolutamente nuovi della vita tedesca non dovete cercarli tra le novità librarie esposte nelle vetrine, ma in qualche altro posto: in angoli in cui ci si deve intrufolare; e la novità è nell'aria stessa che si respira per

⁶⁴ Immanuel Hermann von Fichte (1796 – 1879), figlio di Johann Gottlieb, di cui pubblicò le opere. Insegnò a Bonn e Tubinga e fu uno degli iniziatori del "teismo speculativo".

la strada, in quello che ancora non ha preso forma, che ancora non si è cristallizzato, che ancora non si è sedimentato in risultati: in libri, quadri, manifestazioni musicali.

Dio mio, quanto è terribile la secessione tedesca, fino a che punto gli artisti dello Sturm⁶⁵ si trovano sotto l'influenza dei nostri giovani artisti! Non attirano troppo Mann, Kellermann⁶⁶, Bonsels⁶⁷ e Meyrink⁶⁸.

E si inizia allora a comprendere l'atteggiamento di fondo di opere come *Il tramonto dell'Occidente* di Spengler, nuove solo in superficie ma profondamente decrepite nella sostanza: vi si esprime il disgusto di uno sguardo stanco di osservare il continuo "e così via", e sfiduciato per non poter vedere qualcosa di realmente nuovo. C'è, il nuovo; ma non lo vedrete nelle vetrine delle librerie. Le vetrine delle librerie, al contrario, sono piene di vecchiume: nelle vetrine delle librerie vedrete l'India, l'Egitto, la Cina; leggerete una serie di titoli dedicati ai monumenti antichi, vedrete libri sul buddismo, vedrete letteratura sul neo-buddismo, le opere del conte Keyserling alternate a quelle stravaganti degli espressionisti e dei dadaisti; ma l'espressionismo e il dadaismo sono la reminiscenza dell'arte primitiva; non per niente ora in Germania riscuotono interesse i lavori archeologici di Frobenius⁶⁹, che rinvergono la civiltà antica all'interno delle produzioni culturali americano-occidentali; non per niente al giorno d'oggi ci si interessa all'arte dei negri; sono stato molte volte nello splendido museo vicino a Leipziger Platz, e sono rimasto per ore fermo davanti alle opere della cultura negra; ne spira un qualcosa di troppo noto; alla fin fine è espressionismo anche questo.

⁶⁵ *Der Sturm*, rivista tedesca espressionista con sede editoriale a Berlino. Fondata nel 1910 uscì con frequenza quindicinale fino al 1932.

⁶⁶ Bernhard Kellermann (1879 – 1951), scrittore tedesco avversato dal regime nazista e deputato al Parlamento della RDT nel 1949.

⁶⁷ Waldemar Bonsels (1880 – 1952), scrittore tedesco autore del celebre libro per ragazzi *L'ape Maja e le sue avventure* (1912).

⁶⁸ Gustav Meyrink (1868 – 1932), prosatore espressionista tedesco.

⁶⁹ Leo Frobenius (1873 – 1938), storico ed etnologo tedesco. Fece numerose spedizioni nel continente africano. Fu direttore del Museo Etnografico di Francoforte e autore di opere importanti, come *L'origine delle culture africane* (1898).

È chiaro che nel dadaismo e nell'espressionismo sta invecchiando la cultura morente della Germania borghese, nella quale l'esotismo e l'Oriente vengono a galla con forza spontanea; e Frobenius, studioso della cultura negra, potrebbe continuare con successo le proprie ricerche senza nemmeno andare in Africa, ma studiando invece la quotidianità dei caffè odierni e degli... ateliers di Berlino (probabilmente, anche di Parigi, Vienna, Londra), poiché un negro simbolico sta affiorando nella superficie della vita dell'Europa borghese tanto nel dadaismo, quanto nel fascismo; e nel fascismo non più che nel fox-trot, che nei suoni di un'orchestra jazz.

E allora, magari, nelle strade di Berlino ci vengono incontro fenomeni indubbiamente nuovi, molto più nuovi di tutti i libri apparsi nell'ultimo periodo: quando la grigia, grigio-brunastra Berlino di sera riduce in brandelli il proprio vestito; dal luccichio elettrico dei caffè più svariati, dal negro ritmo dei fox-trot trasudano l'Oriente e il meridione: qui vedrete la Nigeria⁷⁰, Manila, Giava, Ceylon, l'antica Cina.

E ti viene da esclamare: Europa? Che Europa è mai questa? È il negro in Europa, non l'Europa.

E passiamo allora a una questione assai interessante e ancora poco esaminata: la scoperta dell'esistenza dell'Internazionale nera oltre a quella rossa. L'Internazionale nera si sta arricchendo del prodotto della putrefazione e dell'imbastardimento della cultura borghese, che sta portando a una sorta di selvatichezza; nuovissime generazioni di selvaggi si stanno formando in tutti i più importanti centri cittadini d'Europa: qui gli scarti precoci della cultura borghese (scarti anche prima del suo crollo) descrivono un'evoluzione molto interessante: dalle raffinatissime esperienze di vita della contemporaneità, condizionate dai vertici della cultura capitalistica, fino alla comparsa in esse di tratti in effetti preistorici; nelle esperienze di vita raffinate, tra la raffinatezza iniziano a intravedersi tratti di atavismo; l'evoluzione è un ridursi all'atavismo; consente

⁷⁰ Qui e più avanti per Nigeria dovrà in realtà intendersi il Niger, all'epoca possesso francese.

nel processo in atto di esaminare e studiare i processi di formazione di ogni selvatichezza.

Ed è proprio da notare: la scienza già da tempo ha lasciato la tendenza dominante: vedere negli odierni selvaggi dei rappresentanti della cultura primitiva; in verità: i nostri progenitori da molto tempo sono stati rimossi nelle tenebre dei millenni; le attuali scoperte archeologiche ed etnografiche ribaltano la tendenza a mettere in relazione il percorso dell'evoluzione umana con le generazioni e le razze che vivono al giorno d'oggi; si può senza dubbio dire: il tronco principale dello sviluppo dell'umanità non è visibile nella storia; ma il suo ultimo anello è proprio nelle vette creatrici di cultura; e quasi tutti i rappresentanti delle attuali culture primitive sono la degenerazione degli eletti di un tempo; così: gli oscuri abitanti dell'Isola di Pasqua sono forse i discendenti di una cultura spenta ma a suo tempo grandiosa, che viene sfoggiata dai resti di statue monumentali assai raffinate: rimandano all'esistenza di una cultura; dopo la scoperta della volta arcuata dei resti di un corridoio, attribuita dagli studiosi a un tempo molto lontano, è stata compromessa l'opinione che l'architrave egizia tra due colonne (piatta) sia un primitivismo; così: la sagoma raffinata dei rasoi con cui si radevano gli elegantoni di Cartagine è l'attuale sagoma dei pugnali dei negri del Tanganica; e non parlo dei disegni ornamentali delle stoffe egiziane, che ora si incontrano dappertutto sulle stoffe dei negri dell'Africa centrale.

Quando i francesi alla fine del secolo scorso conquistarono la città negra di Dienné in Nigeria, si stupirono scoprendo lo stile delle costruzioni locali: era lo stile degli edifici dell'antico Egitto, mantenutosi solo qui. Quante volte ci hanno insegnato da piccoli che l'epos omerico è un primitivismo; ma dopo gli scavi a Troia e sull'isola di Creta ormai sappiamo: questo primitivismo al tempo stesso è la riduzione al primitivismo di una colossale e raffinata cultura ad esso preesistente.

Sia l'Isola di Pasqua che l'Africa hanno visto nel loro passato delle grandi culture; il crollo di queste culture ha dato origine ai selvaggi; e se lasciamo

l'Europa alla sua attuale passività, essa può diventare un posto al cui interno si formeranno nuove Isole di Pasqua.

L'Isola di Pasqua e il "negro" europeo sono la degenerazione dell'ultra-raffinata Europa capitalista verso il ritmo del fox-trot, il mondo della morfina, della cocaina, verso tutta la spudoratezza del vandalismo organizzato, il cui nome oggi è "fascismo", e domani, magari, "can-can". Kankan⁷¹, una città negra distrutta un tempo dall'avanguardia dei predatori europei, risorge... a Parigi come "can-can", una danza selvaggia e nauseante che si balla proprio dove si percepisce la putrefazione di una vita sazia, oziosa, dissoluta; da questa moda del can-can, un tempo generalizzata, venivano presi in certi ambienti proprio quelli il cui ventre selvaggio vi reagiva naturalmente.

Oh, non cantare questi orrendi canti,
il caos vi ribolle sotto.⁷²

Così: l' "oscuro caos" temuto da Tjutčev è l'atavismo, il ventre, il passato: è il selvaggio in noi; è proprio quel "Dioniso barbaro" che Nietzsche contrappone alla cultura dionisiaca e musicale dei *superuomini* da lui attesa nel futuro; tali, secondo Trockij, dovremmo diventare noi: tramite un percorso di subordinazione del nostro inconscio al nostro conscio; se il passato è l'inconscio (tesi), e il nostro presente è il conscio (antitesi), allora il nostro futuro (la sintesi) sta nell'unione dell'inconscio al conscio; nel caso di una simile unione nella sfera del conscio (subordinazione dell'inconscio al conscio) otteniamo una sorta di nuova cultura dinamica, operosa, impregnata di quello spirito del ritmo che aveva invocato Nietzsche, sottolineando che il Dioniso da lui decantato non ha nulla in comune con il Dioniso dei barbari, che coniuga la lussuria alla crudeltà sanguinaria in forme ripugnanti; nel caso invece di una caduta del conscio nel campo dell'inconscio (nel caso cioè di una sintesi non riuscita), otteniamo un uomo che sprofonda nel proprio ventre; quest'ultimo canta in lui con le voci di forze oscure

⁷¹ Città della Guinea, occupata dai francesi nel 1891.

⁷² Versi della poesia di Tjutčev (1803-1873) *O čem ty voeš', vetr nočnoj?*.

ed è ornato da gioielli raffinatissimi, prodotto della cultura individuale (borghese); la sintesi del presente di questa cultura e del suo passato è un nuovissimo selvaggio, che ha tratto origine dal decadente.

Non è questo che osserviamo su piccola scala, studiando attentamente la storia delle prime quattro generazioni dei nostri recenti capitalisti? I nonni di quei Rjabušinskij⁷³ e Ščukin⁷⁴ che non da molto signoreggiano tra di noi sono dei sani contadini; i padri sono dei milionari illuminati, dei collezionisti, dei mecenati; a volte provano una strana inclinazione per i neo-primitivi dei Gauguin, dei Matisse, dei Picasso; i loro nipoti sono degli ammiratori straordinari di questi ultimi, sono espressionisti e dadaisti ultra-raffinati, che hanno scoperto questa raffinatezza nella vecchia arte negra e predicano la bestialità raffinata sotto forma di ritorno alla natura; questa fascia sociale riempie tutte quelle malsane dimore di perversione (satanismo, sadismo) nelle quali risorge il cannibalismo degli abitanti dell'Oceania e di ogni sorta di Isole di Pasqua; e si può senz'altro dire che nella loro quarta generazione vedremo dei perfetti idioti, imbecilli: tra di loro si formerà il "selvaggio" contemporaneo che, consapevole della propria essenza, propaga la morte dell'Europa non con le parole ma con le azioni.

Il "selvaggio", allevato sotto la maschera del civilizzatore, si spiega la propria parabola dal presente al passato con l'amore per il folklore e per lo "stile"; il cosiddetto fenomeno della "stilizzazione" non è artificioso, ma viscerale; l'inclinazione per uno stile del genere è l'inizio del potere delle "viscere" dell'uomo su di lui; quale che sia lo stile di un uomo, tali saranno le sue viscere. Questo fatto ci è del tutto noto.

Qual è lo stile che ha regnato negli ultimi decenni tra i raffinati dell'Europa borghese? Quello della decomposizione della realtà di questa Europa; la realtà europea su tele, versi, motivi ornamentali ha iniziato a fondersi e scindersi; tutte

⁷³ Riferimento a Pavel Pavlovič Rjabušinskij (1871-1924), imprenditore e banchiere russo; suo nonno apparteneva alla classe contadina.

⁷⁴ Riferimento alla famiglia di mercanti e collezionisti Ščukin; in particolare, Sergej Ivanovič Ščukin (1854-1936) collezionò molte opere di artisti importanti dell'epoca, come Monet, Matisse, Picasso e Gauguin.

le forme solide si sono frantumate; dapprima hanno acquistato stato fluido (impressionismo, neo-impressionismo), poi hanno iniziato a dissociarsi (futurismo, dadaismo); attraverso la realtà dissociata di una nuova Europa “cervellotica” e “dadaista” è trasudata distintamente l’orripilante smorfia del feticcio negro, dichiarato raffinatissima forma d’arte; e si è chiarita la vecchia inclinazione dei civilizzatori europei per l’oscuro “Oriente”, per il “sud”, per il Dioniso barbaro di Nietzsche: e la Francia, questo paese di decadenti, ha dato il via alla campagna; inizialmente vi si sentivano i richiami romantici di Rousseau a tornare alla natura; poi questa “natura” si è mostrata “all’occidentale” (ma in seguito): nelle opere di Gobineau⁷⁵, di Gérard de Nerval⁷⁶, nelle prediche buddiste del Nirvana di Schopenhauer, in Wagner che ha assorbito in sé Schopenhauer, nella teoria del dionisiaco di Nietzsche, nata da Wagner; questa predica dell’ideologia dell’inconscio, questo “nulla” è accompagnato dallo sviluppo dell’Oriente in Europa: l’Oriente viene impresso dalle mode europee e dall’esotismo; dalla fine del secolo scorso fino ai giorni nostri l’aumento di questo esotismo è enorme. Proprio come se tutto abbia incominciato a guastarsi nel mondo interiore del borghese contemporaneo, come se una folata trascinate l’abbia avvolto; questa folata è la caduta dei principi intrinseci della cultura borghese; è la percezione del crollo di tutto il mondo borghese in sé. Questo crollo a propria volta è la conseguenza dello sviluppo dei gas e della lava rivoluzionari sotto le fondamenta del capitalismo, non da molto stabili; il terremoto era stato percepito da Nietzsche; in senso figurato aveva preannunciato la morte della vecchia Europa (della sua vita, del suo pensiero, della sua cultura) per mano di una processione di Dioniso per l’Europa; per Dioniso intendeva l’insorgere di un’era dinamica; ora ci è noto che quest’era è la

⁷⁵ Joseph-Arthur Gobineau (1816 – 1882), letterato francese, studioso di orientalistica e antichità classica. Autore di racconti di viaggio e saggi sulla cultura orientale, soprattutto noto per *Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane* (1853 – 55).

⁷⁶ Gérard de Nerval, pseud. di Gérard Labrunie (1808 – 1855), scrittore francese. Nelle sue opere si ispirò ai numerosi viaggi che fece, all’occultismo e alle religioni antiche. È considerato un anticipatore dei poeti maledetti e del surrealismo.

vittoria sulle forme (sui prodotti) dei valori lavorativi e artistici; tutti i futuri Spengler *implicite* saranno ormai radicati in Nietzsche; ma Nietzsche aveva anche messo in guardia dal Dioniso barbaro: dalla caduta delle vette della vecchia vita e dalla morte, sotto i suoi resti, di chi giace più in basso (gli strati piccolo-borghesi), la cui sorte sarà di trovarsi tra l'incudine di una rivoluzione sociale emergente dal terreno e il martello della caduta dei vecchi valori; oggi vediamo un quadro di caos insorgente: l'alzarsi dell'energia rivoluzionaria dal basso in alto; e l'ampliamento della degenerazione borghese dall'alto verso il basso; nel punto di intersezione tra le due ondate opposte, oggi nello strato medio dei cosiddetti principi della vita quotidiana, osserviamo l'orripilante caos della lotta e della mescolanza di tutti i criteri coesistenti: la comparsa dell' "uomo-negro" tra i piccolo-borghesi di Berlino, di Parigi, di New York e l'apparizione davanti a lui del vendicatore futuro sotto forma di un proletario con il martello levato sul suo ordine borghese.

Il "negro" in Europa ha dato origine a un evento terribile che non si era mai verificato nel corso della storia mondiale: l'Europa per alcuni anni ha ballato non al ritmo delle sinfonie di Beethoven, ma al ritmo dei boati del cannone, al rombo dei clacson, allo stridore delle eliche; questa musica infernale ha coltivato – al tempo stesso – sia la rivoluzione che il "negro" nella coscienza dell'uomo europeo; le "maschere" dell'ordine, della comodità e della calma ora sono state levate; contemporaneamente: sia il "negro" che il "rivoluzionario" sono apparsi in tutta la loro evidenza davanti al viso del piccolo-borghese; da destra e da sinistra hanno assestato entrambi un colpo al piccolo-borghese che stava nel mezzo; sotto il martello di titani sotterranei (i proletari) si è scosso il pavimento dell'indifferentismo piccolo-borghese, mentre il suo soffitto si è sfondato al crollo delle vette della vita che lo sovrasta; attraverso il soffitto sfondato gli si è abbattuto addosso quello che ora è divenuto il prototipo del "negro" che vive con lui: il negro in Europa. Non a caso durante questa guerra i primi negri sono apparsi in Europa sotto forma di una massa organizzata di fanteria nigeriana;

questi negri li ha visti la Germania; li ha visti Odessa; questi negri da allora li contempla ancora la regione della Ruhr. Questi negri sono il simbolo della “negrizzazione” della nostra cultura; quanti dopo la guerra sono apparsi interiormente dei “negri” nella loro vita di prima; una sinfonia di eliche e suoni di “valigie” che si lacerano, in cui riecheggia il principio di un concerto di clacson: tutto questo ha fatto sorgere in Europa dei nuovi ritmi; e questi ritmi hanno preso la forma del fox-trot, dello shimmy, della java, accompagnati dai colpi selvaggi del tamburo negro di un’orchestrina jazz; l’Europa si è rivelata pervasa da danze “orientali”, da ritmi “orientali”, da umori “orientali”; qui l’“adoratore del fox-trot” è la degenerazione dell’antico adoratore del fuoco, qui l’intossicazione generale del “negro” di città – che fa uso di cocaina, di morfina – è la degenerazione del “Dioniso barbaro”, ovvero della comparsa delle colonie europee di colore in Europa; e Ferrer, decadente raffinato, ne subisce il richiamo ammaliante.

La moda dell’Oriente, tenuta nascosta prima della guerra, ha fatto ora la sua apparizione nelle strade: di Berlino, di Parigi. L’Oriente dell’Occidente contemporaneo e borghese, e il negro del fascismo: ecco le vere novità della cultura berlinese: l’ “Internazionale negra” ha diffuso i suoi miasmi anche in Germania.

Ma il suo centro è la Francia.

La Francia, recente modello delle mode europee, la Francia “progressista” si è rivelata “progressista” anche oggi: per i decaduti europei è a capo della moda “nera”; la Francia mi pare una fucina che rifonde gli strati morenti d’Europa in un composto di colore nuovo; si può senza dubbio dire: in un composto di colore nero; alla diffusione del potere dei saccheggiatori europei in tutto il mondo corrisponde l’invasione delle colonie di colore in Europa; è destino che l’uomo europeo o riconosca il diritto alla cittadinanza e alla parità economica di tutti i popoli dell’ “Oriente” e del “meridione”, o venga saldato con la violenza all’Oriente e al meridione. E questo lo percepite più che mai in Francia.

Già una dozzina di anni fa mentre ero in Tunisia mi era divenuto del tutto chiaro; osservando in Africa la “bellissima francesina” per la prima volta fui pervaso da una profonda indignazione nei confronti dei suoi “bellissimi occhi”; cessai di credere nella sua bellissima cintura sottile dopo che lei inghiottì, solo in Africa, senza contare il Madagascar, una superficie pari a ventuno France europee; e allora pensai anche: forse tra poco l’Africa farà a pezzi questa bellissima cintura; e allora iniziai a esaminare attentamente la vita “franco-africana” che mi circondava, a leggere attentamente la quotidianità e la storia della cultura dei popoli da lei inghiottiti; un brano del mio diario africano, pubblicato all’estero, undici anni dopo la sua comparsa è sembrato ai tedeschi tanto attuale che l’hanno ripubblicato con un commento assai lusinghiero (come se in questo brano vi fosse una previsione della contemporaneità); leggendo attentamente questo brano, vedo che descrive l’Europa “nera” contemporanea (l’Europa del fascismo, del fox-trot e dell’Internazionale nera). Per questo mi permetto di citarne qui qualche passo.

Ecco cosa ho scritto nel 1912⁷⁷.

“Voi non sapete cosa sia la Francia: la Francia europea è una piccola appendice di un corpo enorme che giace in Africa, staccato dalla terra africana dai pendii ripidi di Gibilterra... Forse non vi è mai venuto in mente di misurare la Francia con precisione; l’ho misurata io: il rapporto tra la sua parte europea e le africane, detratto il Madagascar, è pari alla frazione $1/22$.. . Tutte le razze di pelle colorata infuriano con rumorosa energia, strillano, ribollono nelle arterie dell’organismo del paese, attirando il sangue della nazione dalla testa – dalla conosciuta Francia europea – al suo nero cuore africano: ho paura per la Francia (quella che conosciamo)...; essa deve liberamente assimilare quel corpo enorme che ha inghiottito, cioè le ventidue France, per diventare lei stessa, dopo l’assimilazione razziale dell’Africa, $1/22$ del suo complesso; temo che arriverà

⁷⁷ Tutti i brani riportati sono tratti dal secondo volume di *Putevye zametki*, che a tutt’oggi non hanno potuto essere pubblicati, dal capitolo “*Dvadcat’ dve Francii*” (N.d.A).

l'ora; il sangue con forza enorme affluirà alla testa del corpo dell'Europa francese; un sangue nero: all'improvviso a Parigi negri e mulatti accorreranno a milioni... le vene del paese scoppieranno sotto la pressione potente; e la Francia europea subirà un colpo: la sua testa diverrà nera”...

Le mie parole “Voi non conoscete la Francia” sono rivolte, ovviamente, alla Francia borghese, all'epoca pudicamente coperta dal velo del liberalismo e dei sospiri sentimentali sull' “asservita Alsazia”; ora la Francia ci è nota: la Francia della Ruhr, degli aerei militari in grado di trasformare in macerie in qualsiasi momento l'intera Berlino; ci è nota la Francia, che ha messo sotto i piedi di Parigi milioni di soldati russi e che si intromette con i propri gendarmi nella vita interna della Russia Sovietica; ci è nota la Francia che ha organizzato dei blocchi contro la Russia Sovietica e ha inviato a Odessa i suoi africani; la Francia – violentatrice della Ruhr – si è smascherata; l' “ora di deflusso della linfa del paese”, cioè delle vette intellettuali, nell'Africa profonda è l'ora dell'esotismo della sua cultura morente: sta creando nuove mode di can-can a Parigi; e l'afflusso, di rimando, del suo nero sangue africano alla testa – la guerra del '14 e la comparsa di schiere senegalesi e nigeriane sul fronte europeo – è il principio della fine della Francia “bianca”, della Francia borghese; il colpo apoplettico alla testa della francesina, probabilmente; e ne segna l'inizio la comparsa di un cannibale sanguinario, Poincaré, nel ruolo della piccola cellula centrale del suo encefalo.

E ancora:

“La conquista francese dell'Africa tutti noi in qualche modo ce la siamo lasciata sfuggire; dell'occupazione delle province del Marocco abbiamo letto solo ora nei giornali⁷⁸; ma il Marocco è un piccolo pezzetto di terra in confronto alla Francia dei Tropici; propriamente parlando: il centro della Francia non è nella sua testa ma nei piedi; la testa si sta assottigliando (cessazione delle nascite): dimagrisce, dimagrisce, dimagrisce; e i suoi neri piedi africani continuano a gonfiarsi; una gonfiezza del genere è una malattia: l'elefantiasi (a quanto pare).

⁷⁸ Il brano è stato scritto nel 1912 (N.d.A).

Povera Francia! Ecco il Marocco, l'Algeria, la Tunisia; ecco la Nigeria, il Senegal e la Guinea; ecco il petto; ed ecco i piedi; in mezzo un'ampia pancia: il Sahara; sapete quanto distano le mani e i piedi della "francesina" contemporanea, qual è la distanza da Algeri a, poniamo, Luanda? L'ho misurata: la distanza da Algeri a questo punto è pari a quella tra Mosca e Londra; la distanza tra le estremità del suo diametro (in vita), da Saint-Louis al Sudan egiziano, è nuovamente circa come la distanza tra Mosca e Londra; la francesina minuta non ha – bisogna riconoscerlo – una vita molto sottile; la Francia sta ingrassando velocemente; è una negra; il suo simbolo non è il gallo gallico, e il suo ballo non è la quadriglia; piuttosto: il suo simbolo è una giraffa, e il suo ballo il can-can; e non serve essere un sottile veggente per capire con chiarezza: ormai perfino nel XX secolo nei suoni raffinati della tradizione pianistica europea si insinuerà il suono sordo-selvaggio e singhiozzante di un tamburo, del "tam-tam", il "la-la" si trasformerà in un "bum". E al rombo del "bum-bum" rimbomberanno gli spazi europei".

Queste parole trovarono conferma già dopo due anni: dapprima rimbombarono i cannoni; poi si mise a rimbombare un'orchestrina jazz da ogni via e da ogni caffè.

E ancora:

"Ora la Francia africana è costituita dal tricolore delle culture berbere: dal Marocco, dall'Algeria, dalla Tunisia; la Francia europea è un terzo dei loro corpi; seguono poi il terribile Touat⁷⁹ e il Sahara (pari a otto France), più in basso: altre tre "France": il Senegal e la Guinea... il Dahomey⁸⁰, la Costa d'Avorio di nuovo superano per dimensioni la Francia, la Nigeria costituisce due France; quasi quattro ne formano l'Oubangi-Chari⁸¹, il Gabon, il Congo centrale e le terre...in direzione del lago Ciad fino al... Bahr al-Ghazal⁸². Così si formano ventidue France al posto di una sola... Nella seconda metà del secolo scorso la Francia che noi

⁷⁹ Regione desertica dell'Algeria centrale, in cui sorgono anche alcune oasi.

⁸⁰ Odierno Benin.

⁸¹ Odierna Repubblica Centrafricana, colonia francese dalla fine dell'Ottocento al 1960, anno in cui ottenne l'indipendenza.

⁸² Provincia del Sudan del Sud.

conosciamo zitta zitta ha conquistato le ventidue sconosciute... che promettono di venire a galla molto presto nelle produzioni “mulatte” della nuova cultura francese... L'Europa si sta “mulattizzando”, si prepara a “negrizzarsi”; per il momento... dei negretti – degli *apaches*⁸³ – portano scompiglio nell'antica Parigi; e quante ne vedremo ancora: in questo secolo!”.

E abbiamo visto: la Francia, l'*apache* Europeo!

E ancora:

“Tra i nigeriani stanno comparando dei neo-francesi; e nel cuore della ‘francesina’ sta maturando la Nigeria; si infittiscono le schiere dei tiratori nigeriani. Nella prossima guerra europea l'esercito negro sarà il baluardo dei francesi”.

Quanto presto si sono realizzate tutte queste parole: l'esercito negro l'abbiamo visto; i ‘neo-francesi’ li abbiamo visti: il negro Maran⁸⁴, insignito del premio Goncourt per il romanzo *Batouala*. E tra i parigini: i francesi ‘nigeriani’, o patrioti della Nigeria: eccone uno: il colonnello Baratier⁸⁵, l'autore dei libri ‘A travers l'Afrique’ e ‘Au Sudan’; descrive esempi di eroismo dei neri, ai quali aveva sottratto la terra per la ‘Francia del futuro’; nel suo libro ‘A travers l'Afrique’, dice: ‘Sapete forse qualcosa sulla conquista di Iossebugu, Dosegvali e Dienné..? Lo dirò francamente: siamo stati davanti a degli eroi’. Ecco il racconto della conquista di Dienné: ‘Era la sera dell'assalto a Dienné. I difensori erano caduti: nessuno era rimasto in vita... Sui cadaveri si era allungata la notte... Una sentinella si intirizziva in cima al colle... All'improvviso... si solleva un'ombra... ‘Chi sei?’. ‘Sono il capo di Dienné: uccidimi!’. Ma la sentinella non aveva l'autorità di farlo... E la sentinella si avvicina a dei soldati addormentati... ne sveglia uno: ‘Prendi la sciabola!’. E si avvicinano al comandante dei neri; quello saggia la

⁸³ Venivano chiamati *Apaches* i membri di una gang parigina della Belle Époque, composta da giovani teppisti.

⁸⁴ René Maran (1887-1960), scrittore francese originario della Martinica. Fu il primo scrittore di colore a vincere il premio Goncourt, con il romanzo *Batouala* (1921).

⁸⁵ Albert Baratier (1864-1917), generale francese, più volte di stanza in Africa. Scrisse diverse memorie delle sue esperienze in Africa.

lama... ‘Bene: uccidimi così!’. E, allungato il collo, si inginocchia... e uno dei soldati arretra... si scosta; il fischio... della sciabola, e... la sciabola cade, e muore il capo di Dienné con la testa staccata per metà dalle spalle.”.

Abbiamo letto sui dibattiti nella camera francese; sapevamo i dettagli della vita degli avvocati che cianciavano lì; e un furtivo Monsieur Député, indossando il frac, con un gibus in mano, ha ammaliato i nostri pensieri... Cosa fosse accaduto effettivamente in Francia noi, certo, non lo sapevamo; in quel periodo le schiere si erano scagliate sulle fortezze di Dienné, di Kankan; su Kankan sapevamo solo una cosa: “È una danza!”. È l’ultima parola della cultura dell’ammaliante Francia. E non sapevamo affatto, ovviamente, fino a che punto questa fosse l’ultima parola della Francia di Abelardo, di Molière, di Racine e d’Alembert; mentre la prima parola della Francia giovinetta è di un qualche Bandiugu-Diara⁸⁶ della Nigeria... Nel suono “can-can” è il riflesso del fulmine che sta bruciando la Francia. Il riflesso di questo fulmine è un borghese-deputato che agita le gambe in aria... A Parigi pensavano così: ‘La nostra *Paris* si è affinata a Kankan: la *fin du siècle* consiste nell’agitare su e giù un tallone’... Ma questo tallone non aveva affatto pensato che si trattava delle azioni dell’esplosione futura in Francia: dell’esplosione della crosta scabbiosa dei francesi ‘bianchi’ nell’esplosione... di quelli che agitano i talloni... L’esplosione dei talloni agitati su e giù è lo scoppio del selvaggio militarismo francese. Termino la serie di citazioni del mio articolo del 1912 con quest’ultima:

“Non sarà mica il Sudan il nostro futuro giudizio universale? Un giudizio universale sulla Francia dei chiacchieroni, dei borghesi, degli avvocati, dei banchieri, di quelli che mandano corazzate a Kronštadt, di quelli che versano lacrime sulla ‘cara’ Alsazia; e di quelli che alla chetichella calano la sciabola sul capo di un prode *pour manger son gigot*... Può essere che un futuro storico francese – nero – scriva: ‘Era la sera della presa delle fortificazioni di Parigi. I difensori erano caduti: nessuno era rimasto in vita... La notte si allungava sui

⁸⁶ Nome di un condottiero negro (*N.d.A.*).

cadaveri... Una sentinella si intirizziva, stringendo il fucile...All'improvviso vede: un'ombra si alza sui cadaveri: 'Chi sei? Parla!'. 'Sono Les français: il capo di un paese sterminato, che ha fatto dono di uomini come Molière, Voltaire, Diderot, d'Alembert, Verlaine... uccidimi'. Il tiratore nero allora sveglia un Bandiugu Diara: e Les français si inginocchia, dopo aver stranamente proteso il collo; guizza la crudele sciabola; e Bandiugu Diara tratterà il tratto fatale sulla storia della Francia' (*Putevye zametki*, II vol., "Dvadcat' dve Francii").

Quello che si è detto sulla Francia potrebbe essere esteso anche all'Inghilterra: ecco il destino dell'Europa borghese: essere squarciata dall'interno da una forza rivoluzionaria, o essere squarciata dall'esterno dalle colonie di colore da lei invase. E queste colonie stanno invadendo l'Europa; e nel sangue borghese in putrefazione si vanno formando dei "negroidi"; il sangue stilla dalle vette dell'Europa "raffinata" al suo cuore piccolo-borghese; il collasso cardiaco è prossimo; e, stracolmo di sangue avvelenato, il cuore palpita al ritmo della marcia fascista e del fox-trot; il Dioniso barbaro cammina allo scoperto per le vie dell'Europa contemporanea; l'Europa ha digrignato i denti in una terribile smorfia "dadaista", "negra".

Ecco in verità quello che c'è di nuovo nella vecchia cultura europea; i Frobenius del giorno d'oggi non devono andare in Africa per i loro studi; il loro campo di ricerca può essere una qualche Place de l'Étoile⁸⁷, o una Kurfürstendamm berlinese.

⁸⁷ Odierna Place Charles-de-Gaulle a Parigi.

Del negro a Berlino e di qualche cosa ancora

A Berlino i seguaci del fox-trot hanno destato la mia attenzione; li osservavo incedere per la Motzstraße e la Tauentzienstraße; giovani pallidi, magri, con le scrimature lisce di lacca e degli smoking chiari; hanno l'espressione particolare dei pazzi, gli occhi stralunati; nella loro andatura c'è qualcosa di rigido, di morbosamente rigido; come se non stessero camminando, ma stessero conducendo davanti a sé le reliquie di un qualche culto sacro; la loro andatura danzante cattura l'attenzione: ogni due passi fanno degli inavvertibili saltelli laterali; solo in seguito scoprii: "foxtrottano", cioè eseguono mentalmente i passi del fox-trot; li consigliano a fare così i loro maestri di danza, divenuti a tutti gli effetti maestri di vita per una certa cerchia della gioventù di Berlino, che va a ingrossare l'internazionale nera dell'Europa contemporanea; Berlino è piena zeppa dei rappresentanti di questa Internazionale, con i "negroidi" nel sangue, con un'inclinazione per il dadaismo e il ritmo del fox-trot nell'animo; tedeschi, viennesi, cecoslovacchi, svedesi, fuoriusciti della Polonia, della Cina, della Russia zarista, del Giappone, dell'Inghilterra: giovani pallidi con le loro compagne: pallide e scarne signorine dagli occhi truccati, con i corti capelli ossigenati, dadaizzate, cocainizzate, seguaci del boston, a suo tempo di moda, che riproduce "le fantasie dell'oppio". Al tè delle cinque affollano caffè e piccoli *diele*, che per il rigoglio variopinto di sete e luci ricordano l'India e Ceylon; ecco un *diele* di un violaceo color amarena che fa fluire luci sanguigne nella semioscurità; ecco un *diele* azzurro-limone: dappertutto singhiozza languidamente una tombola, nel mezzo c'è un piccolo spazio; i tavolini sono addossati alle pareti; ai tavoli siedono delle coppiette raffinate di mulatte e mulatti cocainodadaizzati; in un angolo romba un'orchestrina jazz; e un musicista urla delle oscenità dadaizzate al ritmo del bum-bum; i giovani si alzano; e con i volti irrigiditi, come da ossessi, iniziano – oh no, non a ballare girando sul posto – ma a voltarsi goffamente intrecciati alle ragazze, a camminare a ritmo senza proferire parola; la musica è cessata; e tutti

con la medesima serietà prendono posto; tra un fox-trot e l'altro: shimmy e tango; una ballerina nuda e scalza appare nel piccolo spazio tra i tavolini; questo va avanti per molte ore di seguito; così si balla in un numero imprecisato di posti, in *diele* in penombra, tropicali, minuscoli; così si balla contemporaneamente in un numero imprecisato di caffè; la varietà infinita di sale da ballo – piccole, enormi, di media grandezza, eleganti, semi-eleganti, assolutamente indecenti – si dipana davanti allo sguardo stupito dell'osservatore contemporaneo della vita notturna di Berlino: fino ad enormi sale da ballo piene zeppe di gente del popolo; tutti ballano a Berlino: dai miliardari agli operai, dai vecchi settantenni ai bambini di sette anni, dai miliardari ai vagabondi poveri in canna, dalle principesse di sangue blu alle prostitute; per meglio dire, non è che ballano: camminano con un'andatura da rituale e fanno entrare nel proprio animo i più selvaggi ritmi negri: la regione di diffusione del "can-can" in Europa si è ampliata; metà della Berlino borghese dal tè delle cinque fino alla chiusura dei ristoranti è Kankan, la città negra.

Quando chiudono i ristoranti, nelle strade della tetra città grigio-brunastra si riversano folle di adoratori del fox-trot, di adoratrici del fox-trot; e lentamente si dileguano nelle vie semi-illuminate di Berlino; e il cuore si fa mesto e pesante; allora dalle volute delle tenebre inizia a balenare per Berlino un'ombra misteriosa con una bombetta come fissata al capo: lo fa assomigliare alla testa di una bestia; vi sembra lo stesso uomo dalla testa di cane che vi viene incontro sugli antichi affreschi egiziani; lì accompagnava inesorabilmente i defunti nel regno delle tenebre, al terribile giudizio di Osiride; qui, afferratovi per mano, vi sbuffa nell'orecchio, assalendovi con esalazioni di cognac: "La porto in un *Nacht-local*". I *Nacht-local* sono delle sale da ballo notturne, che cambiano posto di giorno in giorno, incalzate dalla polizia; se seguite l'uomo dalla testa di cane, vi si dispiegherà davanti l'estrema varietà della Berlino notturna: sale da ballo decenti e indecenti, bische, addirittura fumerie d'oppio; a quest'ora della notte girano

per i bassifondi di Berlino automobili cariche di poliziotti; vanno in cerca di covi notturni e mandano i loro clienti al "Polizeipräsidium".

L'uomo dalla testa di cane è la manifestazione eloquente della parte morente di Berlino; un tempo il "negro" veniva raffigurato come "uomo dalla testa di cane"; questo negro è il negro di Berlino, è il negro della "nuova" Europa; o meglio, è l'immagine della sua morte: è il suo fato.

Presto per tutta Berlino potrete vedere il "negro"; dalle vette della cultura dadaizzata il negro è penetrato nell'ambiente piccolo-borghese dei bottegai berlinesi, dei padroni delle camere in affitto, degli osti delle birrerie, dei camerieri che formano qui un'armata (solo con i camerieri che servono i caffè di Victoria-Luisen Platz si formerebbe come minimo una buona mezza compagnia) e via dicendo; qui: c'è il ritmo del fox-trot; e qui: c'è la cocaina; e qui: c'è l'attesa voluttuosa della rivincita, che spinge a guardare con speranza alla "Sowjetrussland", all'Armata Rossa; e queste speranze si intrecciano al contempo alla paura del pericolo bolscevico.

E allora finite nel campo della stipulazione di alleanze tra la Germania e la Russia Sovietica; oh, quale russo a Berlino non ha stretto alleanze del genere decine e decine di volte? Volenti o nolenti, siete comunque costretti a stringere queste alleanze in qualsiasi bottega in cui mettete piede; chiedete una matita, e non ve la danno di proposito; iniziano a parlare con voi: il discorso lo sapete a memoria: "Tutto è aumentato; una volta una matita costava così, mentre ora..."; "Sì – dite voi – è un po' caretta...". "Il marco è crollato ancora". "Già, – convenite voi. "Hanno già superato la Russia Sovietica". "Sì". "Ma quando finirà?" – "Non lo so, davvero...". "Ora nella Russia Sovietica vivere è più facile..." – "Sì," – convenite voi. "Abbiamo combattuto inutilmente..." – "Sì, inutilmente..." – "Dovremmo stringere un'alleanza"... rimanete in silenzio... "In futuro lavoreremo insieme". "Sì, non sarebbe male", vi limitate a dire; e già sapete che ora emergerà il punto principale dell'alleanza: "Batteremo la Francia, ci riprenderemo l'Alsazia; dopotutto l'Armata Rossa è forte". E poi: vi faranno

sentire la nota canzonetta “Deutschland über alles”. E vedrete l’utopia: la rivolta del *kulak* prussiano con l’aiuto delle baionette dell’Armata Rossa; verrà fuori che l’Armata Rossa viene ripristinata con l’aiuto di istruttori tedeschi; e il bolscevismo è solo così: per ingannare gli occhi. Provate a mettere in dubbio questa sciocchezza: e vedrete un volto arrabbiato, che vi guarda con diffidenza: il volto del fascista, contorto dall’ira verso Trockij e Poincaré al tempo stesso. Le tristissime “alleanze” in occasione dell’acquisto di matite, carta, cerini, sigarette mi hanno guastato i nervi mentre ero a Berlino; la sfera della loro diffusione è la sfera di diffusione del “negro” europeo nell’ambiente piccolo-borghese; l’interesse per voi, in quanto russo, in questo ambiente vi risulterà francamente ingiurioso; smascherate questa cortesia melliflua, e sentirete il ruggito di una belva. Una volta sono andato a comprare delle sigarette in una birreria; lì seduto c’era un soldato ripugnante e ubriaco; mi vide, e si mise a gridare: “Lei è uno di quegli stranieri dalla valuta forte”. “È inutile che stia a pensare – gli risposi – sono russo”. “Ah, – si rallegrò quello per l’occasione che aveva di sfogare su di me la rabbia che lo soffocava, – vi abbiamo battuti, ve le abbiamo date!”. “Non è importante, chi le ha date a chi, – obiettai, – l’importante è che sia i russi che i tedeschi sono egualmente esseri umani”. E allora potei sentire una risposta davvero grandiosa: “Noi non siamo esseri umani: siamo tedeschi”.

Forse che la Francia borghese non sta urlando a tutto il mondo con il suo comportamento attuale: “Noi non siamo esseri umani, siamo francesi”? Questo animale selvaggio si è messo a spadroneggiare nell’uomo; questo “negro” intelligibile ha fatto il suo ingresso in Europa durante la guerra, ha messo dappertutto ostacoli e richiede visti e certificati per qualsiasi trasferimento da una città all’altra; ma il “negro” si sta diffondendo anche per la Germania, annunciando di essere non un uomo, ma un “animale”; i ritmi del fox-trot, l’esotismo, il dadaismo, il qualunquismo e tutte le altre manifestazioni estetico-filosofiche della cultura europea fuori moda sono solo il segnale d’inizio

dell'incendio, del crollo dell'Europa, sono solo il fruscio di ciò che a breve si rivelerà essere un ruggito animalesco.

Il "Dioniso barbaro" ormai sta alzando la sua ascia cannibalesca da sotto il manto lacero dell'Europa borghese; non permea solo Parigi: è anche a Berlino; la sua presenza cambia l'atmosfera stessa di Berlino; da sette anni non andavo a Berlino, e in questi sette anni la Berlino borghese è imbrunita, si è fatta "mulatta"; forze vulcaniche hanno fatto franare le vette della vita culturale, e le rovine hanno riempito i bassifondi borghesi; per arrivare a flussi vitali davvero nuovi e vivi bisogna scendere un po'; passare attraverso una nebulosa membrana; e ritrovarsi proprio alle sorgenti dell'energia rivoluzionaria.

Per una serie di mesi ho vissuto in un borghesissimo quartiere di Berlino; verso primavera sentii che non riuscivo più a sopportare una vita del genere, una vita che stava precipitando impotente verso il fondo, ma ad una lentezza così mortale, che sarebbe stato un beneficio per la vita di Berlino se un bel giorno gli edifici intorno fossero crollati, l'acquedotto fosse caduto a pezzi, l'elettricità si fosse spenta, e gli abitanti avessero infine capito che era arrivata la morte (la rivoluzione in un quartiere del genere era assolutamente impossibile). Non è possibile vivere in un'atmosfera di disfacimento generale, tra code che si sviluppano come serpenti del faraone, botteghe del cambio, le note ripetute del fox-trot accompagnate dal ritornello: "Der dollar steht hoch!".

Scappai via da Berlino, e mi stabilii nel sobborgo della sonnolenta cittadina di Zossen; affittai una stanza in una casetta povera, abitata da alcune persone che lavoravano alla tipografia locale. E allora vidi per la prima volta di cosa si nutrono i tedeschi: non quelli che si riuniscono nei caffè della Kurfürstendamm e stringono alleanze con i russi sulla base della teoria copernicana della rotazione terrestre, no: ho incontrato degli altri tedeschi; dei tedeschi che lavorano con energia incrollabile per mesi, per anni da mattina a sera, nutrendosi di qualche patata e di una fettina di pane nero, spalmato appena di un mastice ripugnante che chiamano burro. Vidi allora un'altra Germania, viva ed energica, ma piena di

un odio irrefrenabile per la “Berlino” in cui ho vissuto per mesi; Berlino non è Germania, ma una sezione dell’Internazionale nera d’Europa; “Ma per piacere, – mi dicevano gli operai – tutta la questione delle riparazioni di guerra e il chiasso patriottico non sono altro che sciocchezze; i nostri nemici non sono i francesi, ma la Stinnes&Co.⁸⁸, che da tempo avrebbe potuto pagare la riparazione, ma preferisce custodire i propri soldi nelle banche di Londra”. “Abbiamo sentito parlare dei tanto lodati stranieri che arrivano in Germania per succhiarle il sangue che le è rimasto; son tutte patriottiche lacrime di coccodrillo, quelle versate da ‘stranieri’ autentici; e questi ‘stranieri’ sono i nostri capitalisti tedeschi, che speculano sulle disgrazie del popolo”. Così affermò un altro operaio, con il quale trascorsi lunghe serate in una piccola birreria nel periodo dei funerali di Rathenau; in quei giorni c’era una grande eccitazione; e gli operai si esprimevano più liberamente del solito.

Da quel momento persi la voglia di andare nei caffè sfarzosi dove si riuniscono speculatori internazionali e adoratori del fox-trot; scovai degli angoletti poveri, dove si incontravano gli operai; passai molte sere in compagnia di operai tedeschi, di soldati e marinai (già in seguito, a Swinemünde); in questo ambiente mi feci gli amici più disparati (anche tra i contrabbandieri); mi imbattei spesso in un pensiero vivace e in un temperamento autenticamente rivoluzionario; ma bisogna notare: l’inconsueta resistenza alla fatica dei tedeschi, il grande borghesismo della loro vita e delle loro abitudini professionali, rallentano lo spostamento delle masse verso sinistra. E comunque, l’esperienza dei colloqui con operai e marinai tra il 1922 e il 1923 mi conferma la crescita strabiliante degli umori rivoluzionari in questo periodo.

Ma questo è l’argomento di un articolo smisurato, e non può trovare spazio in un piccolo saggio che coglie solo l’aspetto esteriore di uno dei centri dell’Europa

⁸⁸ Impresa creata nel 1893 da Hugo Stinnes (1870-1924), industriale tedesco. Deputato al Reichstag (1920-1924) per il Partito popolare tedesco, fu uno strenuo oppositore al pagamento delle riparazioni di guerra. La sua impresa era attiva in svariati settori (acciaio, carbone, banche, editoria) e divenne uno dei più importanti trust della Germania.

contemporanea. Il mio compito qui è tracciare uno schizzo solo del “regno delle tenebre”, e non di quello che sarà il regno del futuro, che sta lentamente affiorando in superficie per l’azione delle forze vulcaniche della rivoluzione, già chiaramente percepibile a Berlino al momento della mia partenza (nell’ottobre del 1923).

Mosca e Berlino

Sono passati alcuni mesi da che ho toccato il suolo di Mosca: io, moscovita per nascita, che ho trascorso qui quasi tutta la mia vita, che ho intrapreso il cammino della rivoluzione, che ho visto le immagini dello sfacelo postrivoluzionario; sì, io non ero ancora stato così intensamente catturato da Mosca come ora.

Ci sono stati dei periodi in cui per anni non ho vissuto a Mosca; e poi vi facevo ritorno, ma tornavo dagli amici, non a Mosca; non mi era mai successo di tornare a Mosca; non la notavo; e come l'avevo lasciata, così essa tornava da me; sfiorava appena il mio campo visivo e costituiva un unico, immutabile sfondo ai miei incontri con le persone; sorprendentemente non mutava: per le stesse strade circolavano le stesse persone; la volta precedente ero stato lontano da Mosca dal 1912 al 1916; avevo lasciato la reazione degli anni prebellici, ed ero tornato nei giorni in cui ogni cosa sprigionava l'energia dell'accumulo rivoluzionario, ma Mosca era rimasta Mosca: l'incontro con lei non mi aveva sorpreso.

Questa volta lasciai Mosca nell'ottobre del 1921; i tempi più difficili erano ormai alle spalle; trascorsi due anni in Germania; tornai: era proprio Mosca? Era cambiata: incontrare gli amici mi aveva procurato una grande gioia; ma ancora di più: incontrare Mosca, il suo volto particolare che, formatosi negli anni della rivoluzione, solo ora era manifestamente vivido.

Vengono in mente dei paralleli: con la Mosca degli anni passati; e con Berlino; Berlino e Mosca hanno visto la rivoluzione; la chiassosa Berlino avrebbe dovuto accogliere i forestieri con la crisi del passato; ma, arrivato a Berlino, vidi la stessa Berlino di sempre; la Berlino del passato; i soliti tram; e il solito rombo sotterraneo della *Untergrund*: sputava fuori folle irrequiete di affaristi vestiti accuratamente, con bombette e cartelle; i soliti negozi risplendevano nei posti di

prima: i Wertheim e i Tietz⁸⁹; e la solita ondata di gente si affacciava in Leipziger Platz; lì un poliziotto alzava la palettina bianca proprio come prima (solo che con un'altra uniforme); e: gli stessi vestiti (un po' più sobri), le stesse luci (un po' smorzate), gli stessi volti (forse un po' pallidi, preoccupati), e la stessa pulizia (anche se tutto era diventato un po' più sporco che in passato); come se fosse la vecchia Berlino; e come se non vi fosse stata la rivoluzione; dopo Mosca, voragine vuota e vacillante, si sentiva aria di cultura, piacevole e leggera; i primi giorni veniva da ammirare l'ordine, la pulizia e la spensieratezza, veniva da passare le serate nei caffè a contemplare, al suono di un'orchestrina jazz⁹⁰, l'insensata sfilata di coppie danzanti al ritmo di uno shimmy, di un boston, di un fox-trot o un tango. Berlino mi pareva prospera in contrasto all'indigenza visibile a Mosca sui volti e per le vie, mutati di aspetto; e metteva in mostra le stesse persone, le stesse uniformi, gli stessi caffè, che mi erano ormai del tutto noti dai soggiorni passati.

Ma dal primo mese capii: non era esattamente così; la quotidianità del passato è stata capovolta, distrutta, ma non come da noi: si è mantenuta come esteriorità, ma è distrutta nel tedesco; e spesso, oltre ad essere distrutto nel proprio ordinamento interiore, il tedesco medio è distrutto in un punto centralissimo della vita, da dove un tempo aveva creato una cultura che aveva meravigliato il mondo; questa cultura ormai non l'ha più; gli penzola addosso, come fosse l'ultimo vestito – completamente logoro – che possiede: un vestito che ormai dovrebbe buttare via, ma che non si decide a buttare; la sicurezza del tedesco contemporaneo non è dentro di lui, ma nel taglio dell'abito che lo protegge; attraverso la stoffa sono trasudati il caos, lo smarrimento, lo sconcerto, la paura e il non sapere che fare di se stessi; l'aspetto della città: è anche quello un abito di buon taglio; sotto vi è un subbuglio che costringe a

⁸⁹ Famosi grandi magazzini di Berlino.

⁹⁰ Particolare insieme di tamburi, campanelle e targhette (*N.d.A.*).

storcere gli occhi all'affermazione dei Curzon⁹¹ "l'Inghilterra non permetterà" (in realtà: l'ha permesso) ad altri di rivolgersi ad est: "La *Russland* ci aiuterà... *Die rote Armee*". Ma lo speculatore berlinese d'oggi, che attraversa la Leipziger Straße con una cartella sotto braccio e un sigaro in bocca, combina alla speranza nella *rote Armee* sogni insensati di rivincita: ahimè, non sono stati sradicati: non sa nemmeno lui cosa desidera; non è approdato attraverso la sofferenza a nuove idee creative, non ha perso ogni cosa per riacquistare tutto daccapo come il russo, che cammina per i marciapiedi devastati di Mosca, coperto appena di stracci, senza un vestito di buon taglio, quasi senza protezioni, ma con l'animo forte, temprato dalle sofferenze, guardando speranzoso alla nuova vita in fiore. La rivoluzione qui si è compiuta. E a Berlino, c'è stata davvero?

Un tratto molto caratteristico: mi hanno raccontato che durante il bombardamento dei quartieri di Berlino sia i bombardatori che i bombardati stavano attenti ad aggirare le aiuole: camminare sul tappeto erboso è *verboten*; *verboten*: ecco cosa pende sull'anima di Berlino: il *verboten* tocca anche la nuova attività creativa della vita e del mondo della coscienza: le vie, le prospettive, gli abiti e le insegne: intatti; per un vecchio viottolo passa lo speculatore berlinese che ha il controllo sulla vita; e la rivoluzione non l'ha risvegliato; la rivoluzione lui l'ha accettata come un comodo cambiamento di posizione, l'ha accettata seguendo una tattica, non seguendo il proprio cuore; per questo ora sta lentamente morendo; per questo insieme a lui sta morendo Berlino.

Sì, il berlinese che un tempo decideva le sorti della propria nazione sta ora morendo di una morte di stenti, coperto da un abito di vecchio taglio; sì, quello con cui nella Russia Sovietica la si è fatta finita d'un fiato, d'impeto, irreversibilmente, sta ora introducendo inflessibile la morte a Berlino; si percepisce la morte nell'aria stessa della città; e talvolta viene da esclamare: "Più in fretta, più in fretta!". Pare: l'aspetto decoroso della città è la manifestazione

⁹¹ Riferimento a George Nathaniel Curzon (1859-1925), politico britannico esponente del partito conservatore.

estriore dei sintomi del tetano, che porta alla morte senza tragedie e alla putrefazione senza eroismi.

Nella vita recente di Mosca c'è stata una scossa: gli edifici sono crollati; ma anche: sono emerse le creste di nuove catene montuose; è cambiato il rilievo della vita della città; la vita non si è spenta: ma il rilievo di Berlino non è minimamente cambiato, Berlino è intatta e a parer mio per anni è scivolata nelle tenebre del Tartaro; presto sarà evidente che le vie affollate di Berlino sono le vie del Tartaro; è una vita d'ombra; il bagliore dell'illuminazione elettrica è la fosforescenza della putrefazione. Da Berlino Mosca sembrava una città sconvolta, sottosopra, che aveva attraversato l'enorme scossa della nascita di nuovi criteri; ma sotto il vestito dal taglio decoroso che copriva Berlino, rimasta intatta dopo lo scoppio rivoluzionario, per mesi ho sentito un tremito costante appena percepibile, che per mesi ha fatto sussultare dolorosamente il berlinese nell'attesa del colpo decisivo; un tormento temporalesco senza fine: è orribile a Berlino; questo è il *leitmotiv* della città: risuona distintamente, smorzato dai suoni di infinite tombole; oh, no, è meglio cadere per morire, o risorgere del tutto rinnovato, piuttosto che deperire per anni senza febbre e senza deliri in una clorosi che alla fine porterà comunque alla tomba; e la tomba di Berlino è la paura che la coscienza, la quotidianità, le forme di vita subiscano una scossa, e sì: l'abitante di Mosca è piombato subito sul fondo; ma questo fondo si è rivelato un trampolino di lancio per raggiungere le nuove forme di coscienza, quotidianità e vita; il berlinese si è posato sul fondo, rispettando ordinatamente per mesi tutte le forme esteriori; così lentamente che pare: quando, finalmente, sarà arrivato sul fondo, vi si metterà a sedere stabilmente. Questi pensieri mi hanno fatto visita per due anni; nell'aspetto dignitoso della città ho visto la discesa organizzata, dritta verso il Tartaro; l'aspetto civilizzato di Berlino si è fatto nauseante; capii: lo stare seduti nei caffè, la passione per il fox-trot, l'ubriachezza artificiosa provocata da Dostoevskij, dal *Natascha*⁹² e dalle grappe sono una fuga

⁹² Liquore, cfr. p. 118.

da se stessi e dalla norma; alcuni berlinesi si iniettano una follia di cattivo gusto, meschina, per non guardare la follia incombente della minaccia rivoluzionaria. Sotto la vecchia forma decorosa di Berlino ho iniziato a percepire il caos selvaggio di un effettivo disfacimento e della morte; ho respirato l'odore della decomposizione; l'angoscia e la disperazione – non le mie – mi colsero; Berlino mi si riversava nell'animo, appiccicandomisi come una piovra; ne sono scappato via di corsa.

Ed ecco le mie prime impressioni della Russia Sovietica...

La frontiera: l'uniforme dei soldati di frontiera, artistica e ideata con cura, il loro portamento, l'ordine tranquillo nel compiere le formalità; tutto incuteva rispetto, era interessante, sembrava nuovo; ecco Sebež⁹³; e la spiegazione con i funzionari del GPU⁹⁴, che rifiutavano di visionare i miei libri in copia manoscritta: "Li mandi alla dogana: qui non abbiamo tempo". Le proposte che mi facevano i funzionari della dogana, sconclusionate ma assolutamente in buona fede: "Faccia così, no, così". E litigavano tra loro per questo. "Sentite, compagni, mi avete dato quattro consigli diversi: quale devo seguire?". Ero un po' confuso, ma la cosa mi metteva allegria, non tristezza; sotto i piedi si avvertiva un terreno solido; e noi ci scambiavamo battute: ecco, dicevamo, non si sa che fare.

Ci avviamo: stazioni; e nelle stazioni persone scalze; solo dio sa con cosa erano vestiti molti di questi; dopo Berlino questa varietà assurda di abiti talvolta vecchissimi mi colpì molto; hanno tutti l'aria di poveracci; ma c'è un'espressione singolare sui volti e nello sguardo, rispetto alla gente di Berlino tutta tirata a lucido; lì si vede il riflesso del cupo lavoro negli occhietti che vagano torbidi e smarriti, lì c'è una generale espressione di tristezza, che non permette la comparsa di figure consapevoli; qui, nelle stazioni, c'è una figura dopo l'altra; qui tutti sono persone; lì gli occhi sono apatici; qui lo sguardo è acuto, penetrante e assennato, l'andatura sicura e precisa; i piedi, talvolta scalzi, si infilano

⁹³ Cittadina della Russia occidentale dell'*oblast'* di Pskov, a breve distanza dal confine con Lettonia e Bielorussia.

⁹⁴ Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie (Direttorato politico dello Stato).

tranquillamente nel fango molle di pioggia; ecco uno, con un vestito vecchissimo e un piccolo berretto spiegazzato e cencioso: entra calmo e sicuro, calmo si siede a un tavolo vicino a un pubblico “scelto”, in ghingheri, che viene dall’estero: non vi presta attenzione, chiede con fermezza, sicuro di sé, una tazza di tè e, chinatosi verso di me, con assoluta tranquillità si accende con dignità la sua sigaretta con la mia; negli occhi, lucidità; e si avverte che ha qualcosa che al berlinese manca; quest’ultimo è ben sbarbato, vestito in modo civile (una bombetta e il sigaro in bocca), ma in volto è insicuro: un insieme di rabbia e soggezione verso di me, uno straniero; mi teme nel suo stesso paese; e per questo, perché mi teme, mi odia; mentre questo tipastro dalle calzature consunte che mi siede accanto al tavolino, accanto a me straniero d’aspetto, no, non mi teme; e per questo senza pregiudizi di sorta inizia a parlare con me; già, questo non l’abbatteranno gli urti e i colpi del destino, davanti ai quali il berlinese è in soggezione; e questo grigio contadino che sta entrando nel vagone con aria indipendente, ne sopporterà almeno venti, di colpi: e siederà comunque nel vagone e arriverà alla destinazione per la quale aveva comprato il biglietto; lì farà quello che deve fare; e di nuovo tornerà a casa, da dove è venuto...

Ad una stazione il mio compagno di viaggio tira fuori una macchina fotografica, si appresta a farmi una foto; ci si avvicina il soldato di turno, che ci avvisa gentilmente: “In treno è proibito fare fotografie”... “Senta, non faccio fotografie al luogo; mi permetta di mettere la macchina qui”... “Va bene, faccia pure”... Attacchiamo discorso: e il soldato, che a quanto pare sta recitando la parte del gendarme del passato, mi chiede di Berlino con lucidità e vivo interesse: “Allora, com’è lì? Ci sarà la rivoluzione?”. Parliamo... una chiamata: ci accomiatiamo. Anche il soldato ha l’aria sicura di sé; e lo sguardo vivace; a Berlino non avevo visto nulla del genere.

Volti orgogliosi, forti, freschi: sguardi vivaci.

E a Mosca: lo stesso.

Ho trascorso i primi giorni dal mio arrivo a Mosca sui marciapiedi moscoviti di certo non scintillanti di pulizia, in alcuni punti dissestati e in altri rappezzati, lo sguardo fisso sui moscoviti; una sensazione di vigore, di suolo stabile, di sicurezza: sia nelle movenze che negli atteggiamenti, in contrasto con i vestiti talvolta un po' ordinari (di nuovo in confronto a Berlino); si avverte, ora, la sicurezza di sé: nel 1921 non c'era; e quello sguardo in tralice, spaventato, è scomparso; ovunque gli sguardi sono franchi, aperti: hanno iniziato ad alzare le teste: non le chinano; sono scomparse la cupezza e il vuoto di quelle vie grigiastre: le vie si sono riempite; e sono così variopinte per le nuove insegne colorate e per le merci che guardano dalle vetrine; sono scomparse le mantelle del triste color grigio; e il fermento, l'irrequietezza, la corsa, il balenio delle carrozze leggere, lo sbuffare delle automobili; sì, un movimento simile non c'era negli anni della guerra, di prima della guerra; il grigiore delle mantelle si è stemperato nei variopinti vestiti asiatici; le mantelle sono state sostituite dall'uniforme dell'Armata Rossa, curata e artistico-elegante; familiarizzandosi, si nota: quanto è stato raggiunto nell'ambito dell'accuratezza e dell'ordine! Nei tram l'ordine è di certo maggiore che nella grigia Berlino; le stazioni sono pulite: i caffè e le birrerie stupiscono con la loro pulizia; non si vedono le code lunghissime davanti ai negozi, tanto abituali a Berlino.

Sicurezza e presenza di un terreno stabile: ecco la prima impressione che ho avuto di Mosca; un terreno così a Berlino non c'è affatto: regna l'insicurezza; a Mosca il ritmo dei discorsi che si sentono per la strada è veloce; e parole precise, chiare e ben articolate si intrecciano da tutte le direzioni; a Berlino le parole, le espressioni, le facezie sono banali, ordinarie, generali, poco convincenti, vecchie; a Mosca i discorsi sono forti, personali, brillano per ingegno e salute; le vie di Mosca sono molto più intelligenti di quelle di Berlino.

Ecco, sono sull'Arbat: due anni fa era sporco, trascurato, si ingrignava per i muri scrostati senza insegne: ora c'è tutta una serie di insegne nuove; a Berlino tutte le insegne sono vecchie, eccetto quelle nuove dei russi (la farmacia "Ferrein" in

Motzstraße, il ristorante russo “Olivier”, sempre lì); le vie di Mosca hanno cambiato aspetto già due volte, almeno l’Arbat; un tempo questa via splendeva per le insegne; in seguito le sue pareti si erano squamate, senza più insegne; e ora di nuovo: un’insegna dopo l’altra; tutte nuove: dove la drogheria di Šaforostov lo faceva arricchire sotto un’insegna nera e dorata, ora si azzurra l’enorme insegna “CEKUBU”⁹⁵; dove c’era Gorškov, c’è una birreria: dappertutto spostamenti; solo da qualche parte nomi noti: “Ottico Gromov”, o “Brabec”.

C’è stata una svolta: ha abbattuto tutti i principi, ha strappato via senza pietà le vecchie insegne, le ha ammucciate con impeto, irreversibilmente, affinché dal caos di queste macerie apparissero nuove insegne ad informare del sorgere di una nuova vita; così spicca il verde primaverile dopo la tempesta: questa metamorfosi a Berlino non c’è stata; e, certo, il dinamismo le è estraneo; è statica; per questo è destinata a sfasciarsi; la vita tra le case di Berlino è la vita sotto una slavina incombente, che un giorno precipiterà; mentre la vita di Mosca è lo sciogliersi di una slavina già caduta, il sorgere della vita esteriore sotto il suo manto; di questa ventata d’aria fresca sono inconsapevoli i vivi; e camminano: a passo sicuro, svelto, indipendente, analizzando e discutendo l’un con l’altro, senza vedere con chiarezza gli enormi risultati del lavoro che c’è stato; e vaporizzano sicurezza verso l’alto; non camminano: a Mosca ascendono; mentre il berlinese non ascende affatto, non cammina: discende; e questa discesa (capite, di milioni) pervade Berlino dell’atmosfera di un regno delle tenebre, e di gas sotterranei, soffocanti, tossici.

E notai lo stesso per quanto riguarda gli interessi culturali raffinati: che abbondanza di circoli! Sono appena arrivato qui, che sento dappertutto: “Qui si riuniscono giovani studiosi ad occuparsi di linguistica”... “Lì studiano i problemi della cultura”... “Questo raccoglie materiale vastissimo sulla storia dello gnosticismo”... “E quello ha scritto la biografia di Solov’ev, il filosofo”... A Berlino

⁹⁵ Central’naja komissija po ulučeniju byta učenych (Commissione per il miglioramento della vita degli studiosi).

mi avevano spaventato con quello che scrivevano sulla NEP; a dire il vero, non avevo sentito nulla sui circoli che si occupano di letteratura, di cultura; non ne parlano nella stampa d'emigrazione: forse perché la Berlino russa è così mortalmente povera; sì, lì si trovano a giocare a carte, o passano le serate in modo davvero inconsistente, in caffè fumosi, soffocanti; lì il lavoro procede nell'atmosfera indolente, tetra, nevristenica della città indolente, condannata a sprofondare lentamente fino a toccare il fondo.

La prima impressione che ho avuto di Mosca è di una sorgente di vita; e il primo sorso di questa nuova vita è la gioia di sentirsi non in una città tetra, straniera, in rovina, ma in un subbuglio ribollente, creativo, un po' insensato e variopinto, e capire che questo subbuglio è il laboratorio creativo di forme future forse mai viste prima al mondo.

Marzo 1924. Mosca.

Bibliografija

Opere di Andrej Belyj

- Belyj A., *Revoljucija i kul'tura*, Moskva, Lemana i Sacharova, 1917
- Belyj A., *Odna iz obitelej carstva tenej*, Prideaux Press, Letchworth Herts, England, 1977
- Belyj A., *Počemu ja stal simvolistom i počemu ja ne perestal im byt' vo vsech fasach moego idejnogo i chudožestvennogo razvitija*, A. Arbor: Ardis, 1982
- Belyj A., *Material k biografii (intimnyj)*, a cura di J. E. Malmstad (*Andrej Belyj i antroposofija*), in "Minuvšee. Istoričeskij al'manach" 8, Paris, Atheneum, 1989
- Belyj A., *Simfonii*, Leningrad, Chudožestvennaja literatura, 1991
- Andrej Belyj i Ivanov-Razumnik, *Perepiska*, a cura di A.V. Lavrov e J. Malmstad, Sankt-Peterburg, Atheneum-Feniks, 1998

Articoli e saggi critici su Andrej Belyj

- Bugaeva K. N., *Vospominanija ob Andree Belom*, a cura di J. E. Malmstad, Sankt-Peterburg, izd. Ivana Limbacha, 2001
- Cioran Samuel D., *The apocalyptic symbolism of Andrej Belyj*, Mouton, The Hague-Paris, 1973
- Criveller C., *Le strategie dell'ambiguità in Zapiski čudaka di Andrej Belyj*, "Europa Orientalis" 26 (2007), pp. 327-380
- Demin V., *Andrej Belyj*, Moskva, Molodaja gvardija, 2007
- Elsworth J. D., *Andrej Belyj*, Bradda Books, Letchworth, Hertfordshire, England, 1972
- Lavrov A., *Dve Germanii Andreja Belogo*, "Europa Orientalis" 22 (2003):2, pp. 39-49
- Lavrov A., *O Bloke i o drugih: memuar'naja trilogija i memuar'nyj žanr u Andreja Belogo*, in *Andrej Belyj. Razyskanija i etjudy*, a cura di A. Lavrov, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2007, pp. 220-265
- Malmstad John E., *Andrej Belyj at home and abroad (1917-1923). Materials for a biography*, "Europa Orientalis" 8 (1989), pp. 425-480
- Maksimov D., *O tom, kak ja videl i slyšal Andreja Belogo. Zarisovki izdali, in Andrej Belyj. Problemy tvorčestva*, a cura di St. Lesnevskij e Al. Michajlov, Moskva, Sovetskij Pisatel', 1988, pp. 615-636
- Močul'skij K., *Andrej Belyj*, Paris, YMCA-Press, 1955
- Novikov L. A., *Stilistika ornamental'noj prozy Andreja Belogo*, Moskva, Nauka, 1990

- Orlickij Ju. B., *Russkaja proza XX veka: reforma Andreja Belogo*, in *Andrej Belyj. Publikacij. Issledovanija*, a cura di A. Bojčuk, Moskva, IMLI RAN, 2002, pp. 169-182
- Rizzi D., *Berlino "negra"*, "In forma di parole" 7 (1986), n. 2, pp. 66-73
- Rizzi D., *Gogol' nel simbolismo russo: il caso di Belyj*, "Russica romana" X, 2003, pp. 73-92
- Spivak M., *Košmar v pissuare: k voprosu o genezise odnogo emigrantskogo vpečatlenija Andreja Belogo*, "Europa Orientalis" 22, 2003 (2), pp. 51-70

Bibliografia generale

- Berberova N., *Il corsivo è mio*, a cura di J. Dobrovol'skaja, trad. it. di P. Deotto, Milano, Adelphi, 1993
- Bowlit J., *Begstvo v Berlin. Ivan Puni v emigraciji*, in *Russkij Berlin 1920-1945. Meždunarodnaja naučnaja konferencija*, nauč. red. L.S. Flejšmana, sost. M.A. Vasil'evoj, L. Flejšmana, Moskva, Russkij Put', 2006, pp. 223-238
- Chodasevič V., *Nekropol'*, Sankt-Peterburg, Azbuka klassika, 2008
- Cvetaeva M., *Incontri*, trad. it. di M. Doria de Zuliani, Milano, La Tartaruga, 1982
- Erenburg I., *Ljudi, gody, žizn', Sobranie sočinenij v devjati tomach*, Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1966, vol. 8
- Huizinga J., *La crisi della civiltà*, Torino, Einaudi, 1938
- Laqueur W., *La Repubblica di Weimar, 1918-1933. I mali oscuri della democrazia*, trad. it. di L. Magliano, Milano, Rizzoli, 1977
- Peukert Detlev J.K., *La Repubblica di Weimar. Anni di crisi della modernità classica*, trad. it. di E. Grillo, Torino, Bollati Boringhieri, 1996
- Ponomarev E., "Berlinskij očerk" 1920-ch godov kak variant peterburgskogo teksta, in "Voprosy literatury", 2003, N° 3, <<http://magazines.russ.ru/voplit/2013/3/2p-pr.html>>, ultimo accesso 24.09.2013
- Scandura C., *La Berlino russa: 1921-1924. Le case editrici*, "Europa Orientalis" 6 (1987), pp. 177-192
- Schlegel K., *Russkij Berlin: popytka podchoda*, in *Russkij Berlin 1920-1945. Meždunarodnaja naučnaja konferencija*, nauč. red. L.S. Flejšmana, sost. M.A. Vasil'evoj, L. Flejšmana, Moskva, Russkij Put', 2006, pp. 9-19
- Šklovskij V., *Zoo o lettere non d'amore*, a cura di M. Zalambani, note di A. Galuškin e V. Nechotin, Palermo, Sellerio, 2002
- Vinnik A. V., *Germanskije vlasti i russkij Berlin v 1920-e gg.: po materialam Rossijskogo gosudarstvennogo voennogo archiva*, in *Russkij Berlin 1920-1945. Meždunarodnaja naučnaja konferencija*, nauč. red. L.S. Flejšmana, sost. M.A. Vasil'evoj, L. Flejšmana, Moskva, Russkij Put', 2006, pp. 363-368